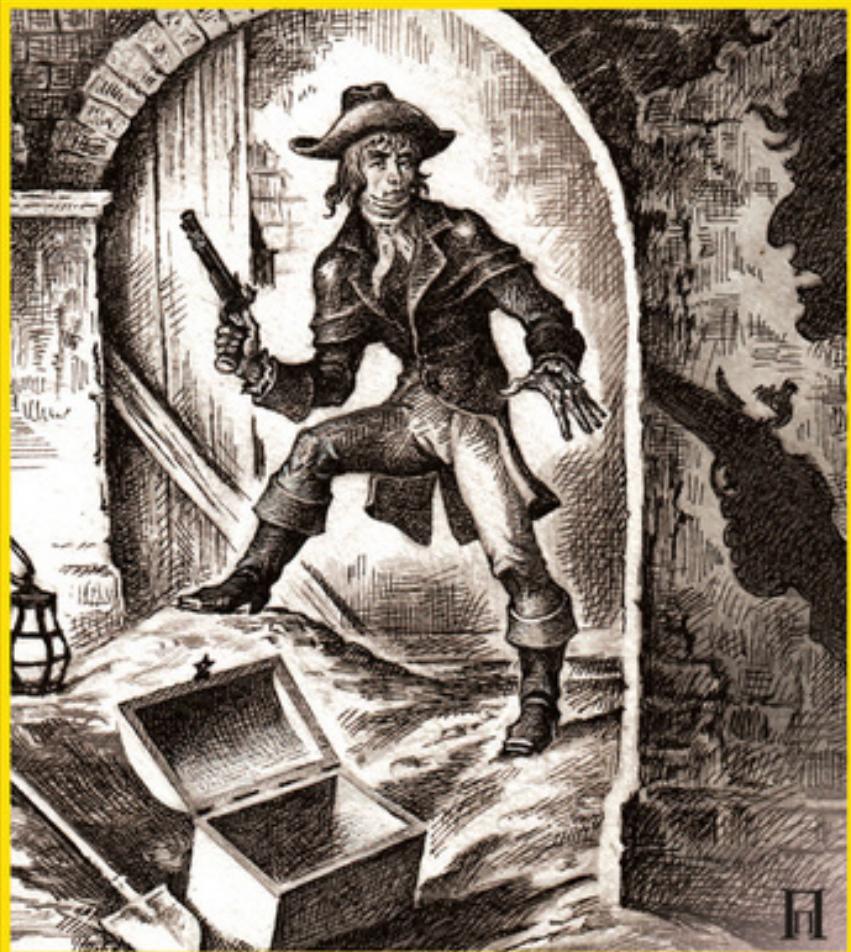


Эжен ШАВЕТТ

ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ



Серия исторических романов

Эжен Шаветт

Тайны французской революции

«ВЕЧЕ»

1873

Шаветт Э.

Тайны французской революции / Э. Шаветт — «ВЕЧЕ»,
1873 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-1457-6

Париж, 1798 год. После падения власти Робеспьера во Франции всеми движет холодный расчет. Одни хотят сохранить молодую Республику, другие ищут возможность посадить на трон брата казненного короля. Но есть еще и третья — люди без принципов и совести, люди вне закона. Когда они собираются вместе — они опаснее всего. Особенno если их цель совпадает с целью их врагов. Роман Эжена Шаветта, современника Александра Дюма, написан в лучших традициях французской исторической и остросюжетной прозы.

ISBN 978-5-4444-1457-6

© Шаветт Э., 1873
© ВЕЧЕ, 1873

Содержание

Об авторе	6
Часть I. Дом Сюрко	8
I	8
II	16
III	19
IV	27
V	34
VI	41
VII	48
VIII	63
IX	68
X	72
XI	83
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Эжен Шаветт

Тайны французской революции

© ООО «Издательство „Вече“», 2014

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2016

Об авторе

Французский писатель Эжен Шаветт родился 28 июня 1827 года в семье знаменитого парижского ресторатора господина Жозефа Вашетта, чьи уютные кафе на Монмартре пользовались особой популярностью среди литераторов. Человек строгого нрава и железных принципов, господин Вашетт хотел, чтобы его сын Эжен стал нотариусом. Но молодой человек, с детства окруженный людьми оригинальными, творческими, увлекся театром и втайне от отца начал писать пьесу. Получился водевиль. После премьеры в театре «Бомарше» Вашетт-старший пришел в ярость, назвал сына «негодяjem и висельником» и потребовал выбирать: либо наследство, либо отказ от высокой чести носить славную фамилию Вашетт. Юноша обладал живым умом и сообразительностью. Он моментально сделал свой выбор. Перетасовав буквы в родовом имени, новоявленный драматург придумал себе новую фамилию, Шаветт, и покинул отчий дом.

От драматургии молодой человек вскоре перешел к журналистике. Бойкое перо и остроумные диалоги привлекли внимание газетчиков, и Эжен начал печататься сначала в театральном еженедельнике «Тентамар», а затем и в престижной «Фигаро». Освещая культурную и общественную жизнь столицы, Шаветт щедро делился своей наблюдательностью с читателями. Его остроумные зарисовки о нравах и особенностях парижан впоследствии были собраны в сборниках «Маленькие комедии порока» и «Маленькие драмы добродетели». Два маленьких шедевра эксцентричности и неистощимого галльского юмора. Один из этих сборников веселый труженик пера Шаветт посвящает «своему лучшему другу – Эжену Вашетту». При всей своей легкости и жизнерадостности писатель никогда не забывал, как долгое время жил в полном одиночестве, без финансовой поддержки отца. Рассчитывать приходилось только на себя самого.

Успех на ниве журналистики не остановил творческую эволюцию неугомонного парижанина. Очередной его ипостасью стали романы: психологические, исторические, юмористические и даже детективные.

Именно Шаветту принадлежит скромная заслуга – «открытие» Эмиля Габорио, будущего «отца французского детектива». Первая публикация романа Габорио «Дело Леруж» (1865) прошла практически незамеченной. Однако Шаветт, прочитав текст, пришел в восторг и убедил издателя новой газеты в том, что этот роман интересен, оригинал и нуждается лишь в хорошей рекламе. В литературе уже были и разбойники, и мушкетеры, и мстители, но здесь главный герой – сыщик! А сюжет строится на головоломном расследовании и поимке преступника. Это свежо. Очень свежо. Возможно, имеет место быть новый жанр.

Перепечатка «Дела Леруж» в 1866-м в газете «Ле Солей» вызвала фурор. В этом же году в Англии был опубликован «Лунный камень» Уилки Коллинза. И хотя бодлеровские переводы рассказов Эдгара По уже имели хождение во Франции (с конца 1840-х), жанр детектива в Европе («юридические романы») еще только набирал силу. Читатели требовали еще и еще Габорио. Но Габорио – не Дюма, он не справляется. Он работает в одиночку и выдает лишь по роману в год. Издатели кинули клич, и Габорио начали подражать. В том числе и сам Шаветт. Среди его лучших работ в этом жанре стоит назвать роман «Комната преступления», построенный на загадке запертой комнаты. Умение сочетать юмор и детективную интригу стало визитной карточкой писателя. Его романы «Прокурор Брише», «Сбежавший нотариус», «Наследство блюдолиза» при жизни Шаветта пользовались большим успехом, были переведены на несколько языков, в том числе и на русский.

На заработанные исключительно литературной деятельностью деньги Эжен Шаветт смог купить себе уютный дом в Монфернейле, где тихо скончался 16 мая 1902 года, оставив читателям увлекательные книги, а друзьям – память о «человеке, который никогда не унывал».

B. Матющенко

Избранная библиография Эжена Шаветта:

- «Прокурор Брише» (Défunt Brichet, 1872)
- «Тайны французской революции» (Le Rémoleur, 1873)
- «Наследство блюдолиза» (L'Héritage d'un pique-assiette, 1874)
- «Куртизанка Шиффард» (La Chiffarde, 1874)
- «Комната преступления» (La Chambre du crime, 1875)
- «Под покровительством привратника» (Aimé de son concierge, 1877)
- «Банда прекрасной Альетт» (La Bande à la belle Alliette, 1898)

Часть I. Дом Сюрко

I

Теперь, когда современный Париж приучил нас к красивым просторным бульварам, многие улицы, привычная ширина которых вполне удовлетворяла наших предков, кажутся уже тесными проулками. Для тех, кто знает улицу Пла-д'Этен, соединяющую улицу Бурдоне с Лавандьер-Сент-Оппортюн, она не что иное, как длинный узкий проход, шириной не более двух метров. Прохожий, только что свернувший с новых широких дорог, чувствует какое-то давление здесь, между двумя рядами высоких мрачных домов, фундамент которых омыается грязью, никогда не освещаемой солнцем – дневной свет не в силах проникнуть в глубины этой древней расщелины.

Все украсилось, расширилось и очистилось вокруг, но этот холодный сырой коридор, носящий название улицы Пла-д'Этен, остался таким же, как и был семьдесят лет тому назад, в эпоху нашего рассказа.

В одно прекрасное июньское утро 1798 года, то есть на VI год Республики, управляемой в то время Директорией¹, некий молодой человек, миновав улицу Бурдоне, приближался к Пла-д'Этен.

Перед поворотом он остановился справиться о названии переулка; но, похоже, это для него было не так уж важно, потому как, пока юноша возводил нос к табличке-указателю, его глаза смотрели украдкой в совсем ином направлении. Быстрый взгляд отмечал, не следует ли за ним по пятам какой-нибудь любопытный шпион.

Успокоенный, без сомнения, этим осмотром молодой человек смело вошел в переулок.

Дошедши до середины, он повернул к воротам, узким и низким, но довольно массивным, с решетчатым оконцем, которое находилось как раз вровень с головой путника.

Юноша поднял железный молоток и ударил три раза, помедлив между вторым и третьим ударом.

После этого стука, служившего, по всем признакам, условным сигналом, дощечка, закрывавшая решетку, бесшумно открылась и за ней показалось чье-то лицо.

– Шесть! – сказал посетитель.

– Четыре! – отвечали из-за ворот.

– Шесть и четыре составляют шестнадцать! – не задумываясь заявил пришедший.

Этот неверный способ сложения, должно быть, удовлетворил спрашивавшего, потому что послышался шум отодвигаемой задвижки. Дверь открылась как раз настолько, чтобы впустить незнакомца в темную сырую прихожую. Тотчас же она вновь затворилась таинственным стражем, здоровенным парнем, который опять скрипнул задвижкой и повернулся к незнакомцу.

– Что вам угодно? – спросил парень, сунув руки в широкие карманы плаща, где, похоже, находилось оружие.

– Я желаю видеть господина Бурже.

– Он в деревне.

– Он вернулся оттуда для тех, кто приехал из Шан-Ружа, – возразил посетитель.

Эта фраза, без сомнения, служила последним паролем, потому что, как только она была произнесена, недоверие стража рассеялось и его грубый тон вдруг исчез.

¹ Директория – французское правительство, в котором исполнительная власть принадлежала пяти директорам (фактический лидер – Поль Баррас). Директория пришла на смену якобинской диктатуре (Робеспьер и др.) и просуществовала четыре года (октябрь 1795 – ноябрь 1799).

— Хорошо, господин, — вежливо сказал он. — Потрудитесь подождать минуту; я сейчас узнаю, может ли принять господин Бурже.

И, указав пришедшему на деревянную скамью, сторож поднялся по лестнице, ведущей на второй этаж.

Пока гость, с такими предосторожностями проникший в этот дом, сидит в ожидании, набросаем поскорее его портрет.

То был молодой человек двадцати восьми лет, высокий, стройный, судя по легкости движений, знавший толк в физических упражнениях и, стало быть, обладавший хорошо развитой мускулатурой. Его маленькая нога и изящная рука выдавали высокое происхождение, которое он пытался скрыть под одеждой простолюдина.

Хорош ли он собой? Вопрос, на который пока ответить трудно. Лоб его затеняли поля глубоко надвинутой шляпы; лицо немного суживалось в обрамлении длинных прядей темных, дурно расчесанных волос; подбородок и рот он прятал в одном из тех громадных галстуков, что были тогда в большом употреблении.

Лицо было в тени, но вот глаза... Пожалуй, довольно и глаз, чтобы судить о человеке. Черные, проницательные, сверкающие отвагой молодости, эти глаза многое говорили. Похоже, человек этот был честным и храбрым, возможно даже, до крайнего безрассудства.

Юноша ждал гораздо меньше времени, чем потребовалось нам для обрисовки его портreta.

— Господин Бурже принимает, — сказал вновь явившийся привратник.

Гость поднялся и последовал за своим проводником наверх. Лестница вела к узкой площадке, на которую открывалась только одна дверь.

— Войдите! — ответил крикливы голос на стук провожатого, который, посторонившись, чтобы дать дорогу гостю, тотчас же запер за собой дверь и прислонился к ней спиной.

Молодой человек заметил этот маневр, отрезавший путь к отступлению, но притворился, что ничего не видел.

А между тем ни в комнате, ни в облике ее хозяина не было ничего таинственного, что стоило бы скрывать с такими предосторожностями. На стенах и под потолком висели чучела целых стай птиц; кругом не было свободного места из-за невероятного нагромождения коробок, ящиков, стеклянной посуды, бокалов и склянок с ящерицами, бабочками и пресмыкающимися. Это был Ноев ковчег, но с мертвыми животными, сохраняемыми естествоиспытателем из любви к науке.

В центре комнаты, перед стеклянным ящиком, стоял старик, высохший, сморщеный, с глазами, скрывавшимися за зелеными стеклами огромных очков, и следил с помощью лупы за агонией великолепной бабочки, трепетавшей на длинной тонкой булавке, утвержденной в пробке.

При появлении молодого человека старик, подняв голову, повернулся к нему желтое лицо, на котором рот скривился, казалось, в улыбку.

— Э-э, — произнес он голосом, напоминавшим по звуку трещотку. — Держу пари, что вот молодой чудак, который, наслушавшись небылиц о старом дураке по имени Бурже, сказал самому себе: «Нужно мне проникнуть в берлогу этого безумца».

Старик остановился, чтобы запустить булавку еще глубже в пробку, потом продолжил:

— А ко мне доступ нелегок, видите ли, милый друг, с тех пор как у меня украли целый ящик индийских летучих мышей.

Молодой человек переждал поток жалоб того, кто в эпоху употребления слова «гражданин» назывался «господин Бурже». Когда старый ученый смолк, он почтительно поднес руку к шляпе, не снимая ее, однако же и сказал спокойно:

— Нельзя ли нам поговорить о чем-нибудь другом, кроме летучих мышей, господин аббат?

Старик подпрыгнул от изумления, вскрикнув на редкость пронзительным голосом:

— Аббат! Какой аббат? Где видите вы аббата, мой любезный друг?

Несмотря на эти восклицания его собеседник продолжал:

— Я прислан к вам Великим Дубом.

Естествоиспытатель казался ошеломленным:

— Великим Дубом! — повторил он. — Великим Дубом?

— Вашим старинным другом, господин аббат.

Маленький старичок покачал головой и, улыбаясь, сказал:

— Видите ли, мой мальчик, я только что говорил о себе как о сумасшедшем, но я вижу, что напал на худшего, потому что не знаю, откуда почерпаете вы эти рассказы об аббате и Великом Дубе, этом старом друге, которым меня ссужаете.

После минутного размышления он продолжал:

— Правда, что у меня очень плоха память на имена и лица!.. Не знаю, оттого ли, что я старюсь над бумагами, но часто я лучше запоминаю почерк, нежели имя.

Молодой человек, казалось, понял намек, потому что после безмолвной улыбки снял шляпу и вытащил спрятанное в волосах маленько письмо.

Подавая его, он машинально откинул другой рукой длинные пряди, скрывавшие лицо.

Вместо того чтобы принять письмо, старик стоял некоторое время в восхищении перед этой энергической и красивой натурой.

— Тысяча святых! — бормотал он. — Вот поистине смелый малый и к тому же красавец.

Погодя он открыл письмо. В нем говорилось следующее:

«Господин аббат. Для нашего дела вы требовали, чтобы я прислав вам красавца. Я делаю более, отправляя к вам кавалера Ивона де Бералека, храброго и энергичного солдата, который безоговорочно доказал мне свои блестящие качества.

Великий Дуб».

Прочитав письмо, стариk одним быстрым взглядом окинул кавалера, потом скатал письмо в шарик.

— Жермен! — позвал он.

Человек у двери выпрямился.

— Господин?

— Проглоти эту компрометирующую бумажку, — приказал он, подавая ему шарик.

Жермен повиновался без возражений.

— Так, очень хорошо! — кивнул стариk. — Теперь ты можешь удалиться, мне нужно поговорить с господином.

Слуга поклонился и вышел.

— Ну-с, кавалер, раз знакомство состоялось, поговорим как старые друзья, — сказал аббат голосом, в котором ничто уже не напоминало о прежнем резком тоне.

Пригласив Ивона де Бералека сесть за стол, он сам устроился напротив, положив перед собой огромные зеленые очки, скрывавшие до времени от молодого человека маленькие серые глаза старика, лукавые и острые, как буравчики.

В свою очередь Ивон также изучал аббата. Вместо дрожащего, полуумного старика, с которым он за минуту перед тем говорил, он видел перед собой строгого на вид человека с важным голосом и изысканными манерами.

— Дитя мое, — сказал аббат, — позвольте мне задать вам несколько вопросов о вашем прошлом?

— Моя жизнь, господин аббат, — грустно отвечал Ивон, — похожа на жизнь многих молодых дворян моего отечества. С установлением Республики я последовал за моим отцом в ван-

дейскую армию. Шесть лет сражался против синих², стараясь отплатить им за все зло, которое они причиняют нашим провинциям.

– А ваши родители?

– Мой отец был расстрелян в Нанте, а мать умерла на эшафоте в Ренне, – медленно произнес Ивон.

– Никакая привязанность не пережила ваши несчастья?

– Нет, умертвив моих родителей, синие сожгли мой замок и…

Кавалер колебался.

– И… – настаивал аббат.

– И обесчестили ту, которую я любил, – отвечал де Бералек, дрожа от гнева и побелев при этом воспоминании.

– Итак, вы принадлежите королю?

– Да! Телом и душой.

– И, если б исход дела зависел от вас, вы были бы готовы на все, чтобы свергнуть их проклятую Республику?

– Да! – отвечал Ивон с силой, выдавшей его неизбывную ненависть.

– Даже на самое странное поручение?

– Да, да, – повторил кавалер.

– Ну так! Мой молодой друг, вы можете возвратить королю его царство, свергнув правительство, которое вы презираете.

Кавалер судорожно выпрямился:

– Что надо делать? Моя кровь, жизнь, честь, я пожертвую всем… Говорите скорее, господин! – вскричал он с дикой энергией.

– О, о! Молодой друг, – отечески мягко произнес старик, – мы не потребуем так много от вашей преданности. Поручение, ожидающее вас, гораздо приятнее.

– Какое же?

Аббат откинулся на спинку стула и отвечал улыбаясь:

– Дело в том только, чтобы влюбить в себя одну очень красивую женщину.

Услышав, что ему предлагали оригинальную должность обольстителя, ему, мужу битвы и борьбы, Ивон отвечал сухо:

– Вы шутите, конечно, милостивый государь?

Но аббат посмотрел ему прямо в лицо и повторил, делая ударение на каждом слове:

– Задача в том, говорю вам, чтобы влюбить в себя хорошенькую женщину.

Из всех начальников роялистской партии, боровшихся против Республики, самым деятельным был тот, которого кавалер назвал аббатом. Мы откроем его настоящее имя.

Франсуа-Ксавье, аббат Монтескью-Фезенсак, ставший впоследствии герцогом Монтескью, выказывал в своей преданности свергнутой монархии то упорное рвение, которое не могли сломить никакие преграды. Новый план появлялся тотчас же после неудачной попытки, и вместо того чтобы парализовать деятельность аббата, поражение лишь питало его упорство и силы. Монтескью всегда выступал страшным врагом Республики, которую уже два раза готов был сокрушить. Тринадцатого венденьера, когда он спустил на Национальный Конвент шайки роялистов, предводительствуемых Даниканом, он был на пути к успеху. Но его злосчастная звезда послала ему в лице генерала Бонапарта противника, которого он не отгадал во мраке истории и который начал свой путь к славе тем, что разрушил попытку переворота Монтескью с помощью пушки Сен-Рока. Восемнадцатого фруктидора Монтескью опять видел себя в двух шагах от победы, но, к несчастью, Пишегрю, ставший его покорным орудием,

² Синие (по цвету мундиров) – солдаты революции, в отличие от белых – роялистов.

попался на удочку своих противников, республиканцев низкого происхождения, на которых аббат вовремя не обратил внимания.

Возвратясь недавно в Париж, Монтескью собирался попытать удачи в новой борьбе против Директории, полиция которой охотилась за ним беспощадно, но не могла выследить в его двадцати убежищах и узнать под тысячами гениально придуманных нарядов, так как этот человек, которого мы встретили в образе дряхлого старика, едва приблизился к своим сорока годам.

В Англии, Швейцарии, Германии, Париже – где бы он ни был, Монтескью везде становился лидером предводителей роялистской партии, поднимавшей голову по всей Франции. Ему не противоречили ни в одном его приказании, хотя бы оно было так же странно, как то, которое он отдал шуану Великому Дубу: прислать к нему хорошенъского юношу.

И вдруг кавалер Бералек, избранный Великим Дубом, спеша к Монтескью с жаждой борьбы в сердце, узнает, что его дело ограничится странной обязанностью – завладеть сердцем хорошенъской женщины.

Поняв, что приказание аббата было серьезным, Ивон покачал головой.

– Поищите в другом месте, – сказал он, – потому что я очень мало способен к должности, для которой годится первый встречный щеголь.

– Почему же?

– Потому что сердце умерло во мне в тот день, когда синие похитили у меня невесту.

– Но тут сердцу нечего и делать, кавалер, – возразил аббат. – И я был бы в отчаянии, если бы вы почувствовали хоть малейшую склонность к той, с которой я поручаю вам сражаться.

– Вы называете это сражением, аббат? – заметил Ивон, с лица которого лукавая улыбка согнала облако, появившееся при воспоминании о невесте.

Но аббат не шутил.

– Да, Бералек, сражаться, я настаиваю на этом слове. И, сколь бы странно все ни казалось, первому встречному щеголю, как вы советуете, никогда не дам я поручение, стоявшее жизни уже троим из наших.

Ивон встрепенулся. Прелесть предстоящей опасности поманила его.

– Эта женщина была причиной смерти троих, говорите вы? – вскричал он.

– Да, трех молодых, храбрых юношей, которые прежде вас попытали счастья, но исчезли без всякого следа.

– Так вы мне предлагаете действительную опасность, а не смешную альковную интрижку? – спросил молодой человек, уже невольно прельщеный.

– Да, опасность, действительную опасность, которая требует в одно время осторожности, мужества и хладнокровия, чтобы избежать неведомого врага, бодрствующего рядом с этой женщиной. Потому что следует бояться если не ее, то окружающего ее тайного надзора, мотов и агентов которого я до сих пор не мог узнать.

Уверенность в опасности поручаемого предприятия оживила рвение кавалера.

– Э, браво, аббат! Что же вы не сказали об этом тотчас же? Если за этой женщиной скрываются мужчины, я принимаю вызов.

– Да, серьезный вызов, дитя мое, до того серьезный, что если вы преуспеете в этом предприятии, то можете рассчитывать на блестящее будущее.

При слове «будущее» Бералек опять грустно усмехнулся:

– О, мое будущее! – сказал он. – Мне нечего о нем много заботиться... оно уже обеспечено, если верить бретонской ворожее, которая предсказала мою судьбу перед отъездом моим в Париж.

– Каково же предсказание? – спросил с интересом Монтескью.

Молодой человек обвел пальцем вокруг шеи и прибавил спокойно:

– Гильотина срежет мою голову прежде, нежели я достигну тридцати пяти лет.

Знакомый с бретонским суеверием аббат подыскивал, что бы сказать в утешение, когда кавалер вдруг разразился смехом.

– А! Я вижу, вы не унываете.

– Это потому, что я думаю о конце предсказания, которое оставляет мне право власти над своей судьбой!

– В самом деле?

– Старуха объявила мне, что я могу избегнуть его и, если и взойду на подмостки, то по собственному своему желанию, для того чтобы на пути к спасению испить чашу бесконечного блаженства.

– Да это загадка!

– Да. Но пока мне еще не сняли головы, и, так как я нимало не расположен ломать себе голову, чтоб отгадывать болтовню безумной старухи, возвратимся, аббат, к более важным вещам... к предприятию, которое вы мне назначаете.

– Так вы решились?

– Конечно. Кто же эта женщина, которая должна меня обожать?

– Это любовница Барраса, – отвечал аббат.

Услышав имя этого могущественного члена Директории, Ивон пристально взглянул на Монтескью и спросил:

– Вы уверены, что от этой женщины зависит падение Республики и возвращение Людовика XVIII в его королевство?

– Да, что я вам и докажу.

– Я вас слушаю.

– В настоящее время, приняв на себя ответственность за все ошибки своих предшественников и собственных агентов, Директория чувствует презрение и проклятие нации, которая приписывает ей унижение Франции. Наших полномочных безнаказанно умертвили в Раштадте; наши победы в Италии не принесли никаких плодов из-за бездарности Шерера и неудач Шампионнета и Макдональда; Брюн, находящийся в Голландии, скоро покинет страну, если сейчас не получит подкрепления. Но Республика, и без того нуждающаяся в людях и деньгах, не может обеспечить нужды армий, которые нужно содержать в одно и то же время в Голландии, на Дунае, в Пьемонте, Неаполе и Риме. Везде нас теперь отбрасывают и побеждают. Почему? Потому что Директория, завидуя славе и популярности человека, которого она не без причин боится, употребила все средства, чтоб удалить его. Она всем пожертвовала для этой разорительной экспедиции в Египет, которая, Директория знала, была бесполезна, но которую она поощряла, потому что поход увлек Бонапарта в страну, откуда он не должен вернуться. Наполеон внушал страх Директорам, понимавшим, что генерал стремился к иной цели, нежели защищать их подточенную власть.

– Да это их единственный опасный враг, – прервал аббата Ивон.

– И наш тоже, дитя мое. Но поблагодарим эту безмозглую Директорию, которая, в своем страхе, избавила нас от подобного противника, отослав его в Египет, где климат, чума, турки и англичане заставят его сложить свои косточки.

– Да, верно! – весело воскликнул кавалер.

– Итак, место очистилось для нас, – продолжал аббат. – Минута благоприятна, так как война оставила Директорию без денег и солдат. Власти не могут даже защищать дорог, на которых наши храбрые шуаны останавливают дилижансы и фургоны, забирая при случае гроши государства. Нет никакой полиции для усмирения многочисленных гнусных шаек поджигателей, наводящих ужас на деревни и села и угрожающих самому Парижу. Везде убийства, нищета, проклятия! Всеобщий ропот поднимается против Директории, которая проводит время в празднествах, где выставляет напоказ свой шарлатанский наряд. А в это время, несмотря на ссылку, эмигранты тайно возвращаются и вступают в ряды роялистов. Скоро

все решится с этой властью, которая, завидуя человеку, единственno способному защитить ее, тщетно выпрашивает помощи у нескольких голодных праздношатающихся с запятнанной честью или не имеющих никакого влияния.

– Какую роль должна играть эта женщина в ваших замыслах? – спросил Бералек.

– Сейчас объясню. Во время заговора 18-го фруктидора если Баррас и осадил Пишегрю, преданного нам, то, конечно, не из усердия к Республике. Причина его противодействия была в том, что он дорожил местом, которое мы медлили предложить ему. Он требовал от нас шести миллионов золотом, миллион сто тысяч ежегодного дохода и замок Шамбор в свою собственность...

– Недурной аппетит, честное слово! – сказал Ивон.

– Если мы медлили с уплатой, то потому что ждали от короля указа о помиловании, которого также требовал Баррас для себя и двадцати других членов совета, которых он ручался завербовать нам. Промедление заставило его думать, что с ним подшутили. Предоставляя Пишегрю свободу действия, он сам решился на «бескорыстие». И вот почему он свергнул того, кто еще накануне был его сообщником.

– Но женщина? Женщина? – спрашивал нетерпеливый кавалер.

– Теперь Баррас, чувствуя под собою колеблющуюся почву, желал бы опять перейти к нам и возобновить торги, но боится нашего гнева за сыгранную шутку.

– Тогда сами пойдем к нему.

– Нет. Чтобы избежать новой измены, мы не должны ободрять его. Пусть он сделает первый шаг, и тогда мы используем против него такие средства, что он не в состоянии будет отступить. Одно золото может привлечь его, а неслыханная расточительность держит его в постоянной нужде. Эту нужду мы должны сделать крайней, и через его любовницу мы достигнем цели. Для того чтобы удовлетворить чудовищные требования этой женщины, руководимой советами...

Аббат приискивал нужное выражение.

– Друга, – подсказал Ивон, видя, что слово «любовник» было противно языку духовной особы.

– Да, друга. Тогда Баррас в порыве необузданной страсти, внушенной этим созданием, обратится к нам за деньгами, которые бросит на исполнение ее капризов.

– И это поручение... советника вы даете мне? – спросил Ивон.

– Отказываетесь вы от него? – живо возразил Монтескью, опасавшийся, что его объяснения охладили пыл молодого человека.

– Нет, вы мне сказали, что оно имеет свои опасности.

– Да, опасности, которые я не в состоянии вам указать, потому что не мог их отгадать. Эти люди убили или спровадили куда-то троих из наших. Откуда эта женщина? Кто она? Не знаю. Она вдруг появилась на празднествах сладострастного директора. Вчера еще никто о ней не знал, а сегодня разом стало известно и об ее существовании, и о влиянии на Барраса. Но в одном я уверен твердо: за этой женщиной установлен таинственный надзор, чтобы не подпускать к ней тех, кто попытался бы совратить ее с пути, ею самой однажды выбранного. Я сначала думал, что она действует в интересах Бонапартов, этой толпы честолюбивых родственников, которых генерал оставил в Париже за себя.

– Без сомнения, чтобы пригреть ему mestечко, – заключил Ивон.

Аббат усмехнулся и продолжал:

– Нет, Бонапарты ни при чем в этом заговоре, единственная цель которого – перетянуть Барраса. Но Баррас не такой человек, чтобы легко купиться; он продает себя дорого, очень дорого...

И, разразившись смехом, аббат прибавил:

– А у Бонапартов нет ни гроша за душой!

Кавалер Бералек встал, чтобы распрощаться.

– Где найду я эту женщину? – спросил он.

– Она должна быть царицей праздника, который Баррас дает нынешней ночью в Люксембургском саду.

– Сегодня ночью я ей представлюсь, – решил Ивон, протягивая аббату руку на прощанье.

– Где вы остановились в Париже? – спросил тот.

– В гостинице «Страус», улица Ла Луа (бывшая улица Ришелье).

– Хорошо, до вечера вы получите двести луидоров на первые военные расходы.

Прислушиваясь к удаляющимся шагам молодого человека, аббат, оставшись один, прошептал:

– На этот раз сделана последняя ставка, и хорошая! Потому что я все рассчитал.

Увы! Аббат ошибся в расчете, не подозревая о существовании нового врага, которого звали: «Товарищи Точильщика».

II

Наблюдательные люди заметили тот странный факт, что все отрасли промышленности, питающие удовольствия и зрешица, никогда не достигают такого полного расцвета, как во времена всеобщей нищеты и коммерческих и политических кризисов.

Потому ли это, что общество ищет в удовольствиях отсрочки своим страданиям или забвения своих беспокойств? Мы не знаем этого, лишь приводим факт так, как он есть, не объясняя его. Поспешим прибавить, что никогда он не был лучше доказан, нежели в эпоху Директории.

Как сказал Монтескью Ивону Бералеку, нищета и анархия тогдашнего общества были глубоки, вся страна обагрилась кровью от ежедневных убийств, рожденных местью враждующих партий, однако Париж никогда еще не видел столь пышных торжеств.

После господства Террора, который в железном кулаке стиснул волю страны, вдруг вспыхнул пожар всеобщего веселья, начались всюду бешеные вакханалии и такое растление нравов, что эта эпоха не без основания названа вторым «правлением Террора».

– Они рехнулись! – говорил Делиль, глядя на обезумевший народ.

Многие умирали от голода, на улицах убивали друг друга, но везде устраивались пляски. Так как частные лица еще боялись открывать свои гостиные, все классы общества встречались на балах, по подpisке или в публичных зданиях, появлявшихся в большом количестве.

Великолепный сад фермера-генерала Буттино, – гильотинированного со всеми своими собратьями, по словам Дювала, «за прибавление воды в табак народа», – окрещенный подрядчиками Тивольским, первый открыл публике свои врата. Потом был дан бал в елисейских садах и дворцах, где негр Жюльен, Штраус того времени, управлял оркестром. Сад капуцинок, Ранелаг Булоньи, Вокзал Маре, Ганноверский павильон, отель Теллюсон были слишком тесны для всей этой массы народа. Гости переправлялись даже на другую сторону реки для танцев – или на балу Зефиров, происходившем под открытым небом на кладбище Сен-Сюльпис, где буквально отплясывали на могилах, с которых, однако, позаботились снять надгробные камни и свалить их в сторону; или на балу Ночного Собрания в Сите, где два раза за вечер антрепренер Виало уговаривал своих слушателей «Кошачьим концертом», привлекавшим весь Париж. Его секрет был в том, что двадцать кошек, зрителям которых видны были одни морды, помещались на клавишах клавикордов. Эти клавиши были не что иное, как заостренные пластинки, из которых каждая прикреплялась к хвосту кошки, поднимавшей крик. Звук этого крика, соответствующий музыкальной ноте, производил вместе с ней ужасный шум, заставлявший публику помирать со смеху.

Мы отказываемся исчислять все балы, которые нарочно придумывались, начиная с бала Абонентов, открытого на улице Мон Блан танцевальным учителем Депро, только что женившимся на Гиморе, знаменитости парижской оперы, до большого бала улицы Муффетар, получившего так мало подходящее название «Сельского Бала», тем более что он происходил на пятом этаже.

Довольно сказать, что Париж за два года видел открытие ста шестидесяти балов, которые, однако, не удовлетворили эту ненасытную «эпидемию-пляску», по событиям которой Гардель поставил в Опере свой прелестный балет «Танцомания».

Не будем описывать развращение нравов, которое, естественно, должно было возникнуть от смешения слоев общества, особенно когда супружеские узы ослабли благодаря легкости развода. Казалось, все общество жаждало беспутства и хотело вознаградить себя за вынужденное благоразумие, так долго против воли навязываемое ему республиканским правлением.

Сознаемся, что женщины во многом виноваты в этой нравственной порче. Они бросились очертя голову в эти празднества, на которые являлись почти нагие и где бывали причиной

кровавых ссор между республиканцами (известными тогда под общим именем якобинцев) и золотой молодежью, почти сплошь состоявшей из роялистских реакционеров, которые четыре года тому назад помогли низвергнуть Робеспьера, и которую якобинцы презрительно называли Щеголями, Невообразимыми или Чудными.

Тайная история Директории, которая лучше других сочинений того времени описывает нравы эпохи, говорит следующее о тысяче затруднений, причиненных Директории Щеголями, которые, упиваясь кратким мигом удачи, привлекали всеобщее внимание своей смелостью, бесцеремонностью и особенно – оригинальным костюмом. Они вздумали носить волосы, заплетенные в мелкие косички или спадающие наподобие собачьих ушей, пудрить свои маковки и к зеленой одежде с длинными фалдами прибавили еще черные бархатные воротники. Щеголи вооружались узловатой дубиной, с помощью которой на улицах города «встрепывали волоса» якобинцам, ходили с пистолетами в карманах курток и в довершение приняли обыкновение англичан носить сапоги с отворотами.

Этот костюм, не без изящества, при всей своей оригинальности являл странный контраст с одеждой якобинцев, которые еще не отказались от своих коротких курток, гладко причесанных волос и толстых башмаков.

Это различие в одежде служило беспрестанно поводом к ссорам и схваткам на улице. Деятели реакции термидора, Щеголи, пытались сохранить свою власть. Чтобы отплатить за гнусные злодейства, учиненные знаменитыми санкюлотами, они убивали их среди белого дня.

Якобинцы, озлобленные тем, что получили властителей в тех, которые когда-то были угнетенными, упрекали Щеголей в сговоре с иностранцами, в переписке с изгнанными принцами, в ношении под видом своих зеленых курток ливреи графа Артуа, а под видом черных бархатных воротников – траура по Людовику XVI.

Была доля правды в этих обвинениях. Щеголи, с женоподобными манерами, жеманными речами, с приторной нежностью языка, состоявшей в том, что они не произносили «р», были действительно почти все антиреспубликанцами, сыновьями или родственниками жертв Террора, или имели претензию на родство с ними. Они составляли войска аббата Монтескью.

Директория не смела восставать против тех, кто помог государственному перевороту, из которого она сама же вышла после падения Робеспьера. Когда, слишком теснимая жалобами якобинцев, она решалась обуздать Щеголей, на нее набрасывались все женщины, которыми она себя окружала. Они кричали о тирании, о несправедливости; они брали на себя защиту этих «бедных молодых людей, таких интересных», так что волокиты-Директора пугались не на шутку, и Щеголи оставались безнаказанными.

Дамы тем охотнее покровительствовали Щеголям, что сами часто подвергались обвинениям в сумасбродстве своих костюмов, и нужна была рука защитника, чтобы они могли отправиться в театр, в Муссо, Тиволи или... Кобленц (так называлась часть бульвара, известная теперь под именем бульвара Итальянцев).

Здесь-то они и выставляли напоказ те странные наряды *«a la grecque»*, которые, казалось, заставили их забыть всякий стыд. Красавицы появлялись почти голые, без рубашки (в буквальном смысле), без юбки... ничего, кроме тесно облегающей пеленки телесного цвета и, поверх нее, туники из прозрачной кисеи, которая к тому же не закрывала ни рук, ни ног, ни шеи. Браслеты на манер античных украшали руки и нижнюю часть икр. Вместо башмаков носили сандалии, а каждый палец руки украшался кольцом с камеей или бриллиантом. Золотой или шелковый пояс подхватывал одну сторону туники, открывая взгляду обнаженную ножку.

Легкая и прозрачная ткань туники подходила для посещения театра или праздников под крышей; но выходной наряд, состоявший из цветной шерстяной туники, столь же открытой и короткой, тоже считался совершенно приличным. Однако женщина в таком костюме раздражала народ, преследовавший ее издевками и оскорблениеми и часто доходивший до того, что спускал ее в бассейн публичного фонтана.

Зато и дамы эти выходили в город не иначе, как в сопровождении стражи Щеголей, защитников женщин от грубой толпы. Тогда начиналась схватка, в которой пускались в дело палки, ножи и пистолеты, и кровь текла рекой.

Теперь, когда благодаря историкам того времени мы набросали черты парижского народа в 1798 году, возвратимся к нашему рассказу, прося у читателя извинения за длинное, но познавательное отступление.

Так вот для этой-то смеси Щеголей и якобинцев Директория давала в тот вечер бал, и на этом бале Бералек должен был увидеть женщину, которую аббат Монтескью велел ему покорить.

Этот бал служил выражением настоящего национального торжества по случаю взятия Мальты Бонапартом, который завладел островом по дороге в Египет. Директория праздновала этот подвиг оружия с тем большею искренностью, что событие это отдаляло от Франции самого опасного врага нынешнего режима.

Водворившись в Малом Люксембурге, пять Директоров имели в своем распоряжении приватный сад Дворца. Здесь, под открытым небом, в теплую июньскую ночь, празднество ожидало приглашенных.

Приватный сад состоял тогда из так называемого теперь «большого четвероугольника». Разбитый в низине, которую позже соединили, сровняв склоны, с великолепной каштановой аллеей, он был обнесен стенами, образующими террасы, заметные до сих пор.

Публичный сад возвышался над приватным. С высоты этих террас народ мог глазеть на бал, поэтому с наступлением ночи, по приказанию Барраса, из публичного сада выпроводили публику и ворота были заперты. Из сада толпа высыпала ко входу во дворец, расступившись перед Щеголями и Чудихами, которых она принимала со свистом и ругательствами.

Мало-помалу приглашенные съехались, ожили ярко освещенные залы и сад.

Но по всему собранию невольно пробегал трепет любопытства. Все нетерпеливо ожидали появления новой султанши, принадлежавшей, по слухам, сластолюбивому Баррасу.

До этого дня ее видели только завсегдатаи интимных собраний.

В первый раз она собиралась выставить напоказ перед всей публикой свое превосходство, которое давала ей красота.

В ту минуту, когда дворцовые часы пробили десять, шепот пробежал в толпе:

– Вот она! – слышалось со всех сторон.

III

Выйдя из дома на улице Пла-д'Этен, Ивон Бералек вернулся на Ла Луа, где по приезде в Париж он остановился в гостинице «Страус», как он и сказал аббату.

Забавная вывеска этой гостиницы, носившей прежде название «Австрия»³, обязана была своим происхождением осторожной перемене, которую боязливый хозяин счел за лучшее совершил несколько лет тому назад, во время процесса Марии-Антуанетты, когда народ бегал по улицам с криками: «Смерть Австриячке!».

Гражданин Жаваль, так звали хозяина гостиницы, был воистину олицетворением трусости. Во время Террора он так часто дрожал за свою голову, что ему постоянно чудилось, будто она уже находится в отверстии гильотины, так что даже теперь, когда опасность миновала, он сохранил боль в шейных нервах. Когда его спрашивали о чем бы то ни было, Жаваль сотрясением своей головы, казалось, всегда отвечал: «нет».

А между тем этот же страх сделал его в былье дни весьма изобретательным: тогда же, как он переменил свою вывеску, Жаваль потребовал, чтоб торговка холстом, которой он сдавал под лавочку помещение в первом этаже, тоже сняла свою вывеску, дерзко гласившую в то время, когда было отменено почитание всех святых: «Торговый дом Св. Иоанна-Крестителя» («Maison du Saint-Jean-Baptiste»). Видя отчаяние своей жилицы, очень дорожившей названием магазина, Жаваль возымел гениальную мысль перевернуть надпись, что он сделал и со своей. На вывеске изобразили обезьяну в тонкой рубашке и подписали: «Торговый дом обезьяны в батисте» («Maison du singe en baptiste»)⁴.

Судьба назначила этому бедному Жавалю трепетать всю жизнь. После трепета во время Конвента он дрожал под управлением Директории, потому что его трусливый характер поставил его в странное положение. Во время Террора, боясь подозрения в отсутствии патриотизма, он превзошел всякие границы хвастовства перед своими соседями.

– Пусть-ка вторгнется неприятель во Францию, – вскричал он. – Я прыгну до самой пограничной заставы! Там, схватив саблю, возьму свою голову за волосы, отрублю ее и, подавая неприятелю, закричу самым грозным голосом: «Ты видишь, на что способен свободный человек! Теперь осмелься подойти!»

Эта глупая фраза, произнесенная Жавалем из страха перед соседями, ужаснула их:

– Какое свирепое животное! – говорили они шепотом друг другу.

Но теперь, когда страшные дни миновали, соседи мстили за прежнее, посмеиваясь:

– Гражданин Жаваль! Не боитесь ли вы ответить за прежнее рвение, которое вы выражали когда-то слишком ясно?

Так что трактирщик после опасения не высунуть достаточно горячим патриотом теперь дрожал, боясь, чтобы его не приняли за ярого республиканца, и при этой мысли шейная нервная боль у него усиливалась и голова выделявала свое «нет» с неистовым упрямством.

Самая пустая вещь способна была привести в отчаяние нашего человечка, которому все казалось подозрительным. С беднягой, вероятно, случился бы удар, если бы он узнал, что его жилец – Ивон Бералек, который прописался под именем Работена, коммивояжера, – был одним из наиболее искусных начальников шуанов, который уже раз двадцать мог быть расстрелян и даже от одной мысли, что на него возможно наложить руку, полиция пришла бы в неописуемый восторг.

Хотя добряк не имел еще никаких подозрений, но одно обстоятельство возбудило его недоверие, и он с нетерпением подстерегал своего жильца.

³ Французское слово «autruche» (страус) отличается только одной буквой от слова «Autriche» (Австрия).

⁴ По-французски «Saint-Jean-Baptiste» и «singe en baptiste» произносится одинаково.

Итак, возвратясь от аббата, Ивон нашел своего хозяина стоящим в передней на часах.

— Гражданин Работен! Ждали вы сегодня кого-нибудь? — спросил этот достойный человек.

Жизнь в продолжение десяти лет, полная ловушек и неожиданностей, приучила Ивона всегда быть настороже.

При этом неожиданном вопросе он притворился, что припоминает.

— Ждал ли я кого-нибудь?.. — сказал он. — Дайте-ка мне подумать... у меня такая короткая память.

Играя эту комедию, молодой человек в то же время размышлял: «Я никого не знаю в Париже. Разве меня выследили? Уж не явился ли шпион по моим следам?»

Жаваль счел своим долгом прийти ему на помощь, прибавив:

— Да, здесь был молодой человек ваших лет, с длинными волосами и с палкой в руке.

— И он меня спрашивал?

— Да.

— Под моим именем Работена? — спросил Ивон, зная, что никто, кроме Жаваля, не мог знать этого имени, придуманного при снятии комнаты.

— Под вашим именем... не скажу; когда я его спросил, он мне отвечал, что не запомнил его.

— В таком случае что заставляет вас предполагать, будто он спрашивал меня?

— Он так хорошо обрисовал вас, что из всех моих жильцов, я сейчас узнал вас.

— И он ничего не поручил мне сказать или передать? — спросил Ивон, заинтересовавшись.

— Нет, но он обещал побывать опять, сегодня же.

— Конечно! — вскричал Бералек. — Лучший способ узнать, действительно ли ему нужно меня, — это послать его ко мне, когда он явится.

— Условлено, — сказал Жаваль.

Ивон быстро добежал до своей комнаты, спрашивая себя, кто бы мог его разыскивать. Одно обстоятельство, однако, успокоительно действовало на него: незнакомец не сказал его настоящего имени хозяину гостиницы. «Это, без сомнения, друг, — думал он, — который, зная, что я скрываюсь, догадался о перемене моего имени».

В эту минуту в коридоре, в конце которого находилась комната молодого человека, раздался шум шагов.

«Их двое», — думал Ивон, вынимая из карманов куртки два маленьких пистолета, которые он зарядил.

Снаружи в замочной скважине он оставил ключ, и теперь было поздно вынимать его.

Бералек встал перед самой дверью, держа в руках пистолеты, готовый броситься на врага.

— Если они пришли схватить меня, вот чем можно их встретить, — сказал он самому себе.

Шаги стихли у его порога. Вместо того чтобы резко распахнуть дверь, как ожидал Ивон, кто-то осторожно постучал.

«А! Они предпочитают формальности», — подумал кавалер. Но знакомый голос, голос Жаваля, тотчас прокричал ему:

— Гражданин Работен, я привел к вам особу, приходившую уже сегодня утром.

Ивон опять спрятал пистолеты в карманы, говоря самому себе:

— Если это друг, господин Жаваль уже открыл ему ложное имя, которое я присвоил.

Его соображения были справедливы, потому что тотчас же за дверью другой голос вскричал:

— Работен! Да это Работен... Вот именно это имя просилось у меня с языка.

— Войдите! — крикнул Ивон, успокоенный этим восклицанием.

Дверь отворилась и высокий молодой человек показался на пороге.

Недоверчивый Жаваль оставался позади, подслушивая первые слова, которыми должны были обменяться встретившиеся мужчины.

Молодые люди взглянули друг на друга, словно совершенно незнакомые.

Пришедший шагнул вперед.

— Гражданин Работен! Мне нужно сказать вам пару слов.

— Я к вашим услугам, гражданин, — вежливо отвечал Ивон, подходя к двери, чтобы затворить ее.

Жаваль был еще в коридоре.

— Благодарю, дорогой хозяин, что показали этому посетителю дорогу ко мне.

И он захлопнул дверь перед носом любопытного содержателя гостиницы.

Как только молодые люди остались вдвоем, они бросились в объятия друг другу. Счастливый случай помог тому, что ни одно имя не было произнесено, когда посетитель, смотревший через плечо Ивона, скороговоркой тихо шепнул ему на ухо:

— Тс-с! Посмотри под дверь.

Ивон быстро повернулся.

Коридор освещался окном, находившимся как раз перед комнатой кавалера, так что в щель между порогом и дверью проникали лучи света. Но в эту минуту у входа отчетливо была видна чья-то тень. Это была тень от ног Жаваля, который, припав ухом к двери, не подозревал, что его присутствие уже обнаружено.

— Подожди немного, — прошептал товарищ Ивона.

И он прибавил, возвышая голос:

— Гражданин Работен, ты знаешь, что после доносов, сделанных на содержателя этой гостиницы, Директория, прежде чем расстрелять его в Гренельской долине, желает удостовериться, действительно ли этот человек — изменник, и она поручает тебе втихомолку наблюдать за его поведением. Я пришел за твоим отчетом.

Ивон понял шутку своего гостя и тотчас же ответил ясным голосом, чтобы каждое слово могло коснуться уха Жаваля.

— Этот человек был нам указан как один из самых деятельных агентов роялистской партии. Кажется, он подслушивает все, что говорится между патриотами, чтобы тотчас же передать их разговор врагам Республики. На него донесли как на человека, всегда шпионящего у дверей надежных республиканцев, и, конечно, я скоро накрою его, навострившего уши у чужих дверей.

— Этого доказательства будет довольно, чтобы закатить ему час спустя двенадцать пуль в живот.

Едва были произнесены эти слова, как луч солнца вновь показался под дверью, без малейшей тени. И, позеленев от страха, с волосами, вставшими дыбом, Жаваль побежал, бормоча сквозь зубы, щелкавшие от волнения:

— Я погиб! Директория принимается за меня! Избегнуть гильотины, чтобы быть застреленным!.. Надо их скорее убедить, что я горячий патриот, без чего... вдр-р-руг!.. в долину Гренеля!

Успокоенные успехом своей уловки, молодые люди разразились веселым смехом, как только убедились, что их не подслушивают.

— Как это ты, Пьер, здесь в Париже? — вскричал Ивон.

— А ты сам разве не здесь? Там уж не дерутся; наша Вандея только что заключила мир с Республикой, — неискренний мир, он долго не продержится. Тогда, вместо того чтобы сидеть сложа руки я сказал себе: «Ивон уехал по какому-то поручению, в котором, конечно, ему придется наносить или получать полновесные удары, я отправляюсь к нему, чтобы потребовать и себе их долю». И вот я с тобой! Долго искал я твой след; но недаром же зовут меня «Собачьим Носом», — я кончил тем, что напал на тебя.

И молодой человек, обнимая опять Ивона, заключил свой рассказ, вскричав:

– Посмотрим, любезный собрат по оружию. Так как твой Пьер, друг, который без малого шесть лет не переставал сражаться рядом с тобой плечом к плечу, приехал, я рассчитываю, что ты не будешь так эгоистичен, чтобы присвоить себе все предстоящие опасности. Я требую себе ровную долю.

Ивон засмеялся:

– Но, мой добрый Пьер, вот ты и ошибаешься. Дело, порученное мне, может исполнить только один человек, именно я.

– Не может быть!

– Ну, посуди сам. Мне велено влюбить в себя красивую женщину.

От удивления Пьер округлил глаза.

– Да, – продолжал Ивон. – Ты видишь, что тут дело уже не в жестоких битвах, в которых мы так охотно рубили синих. Я превращаюсь в щеголя, мой милый.

– А она красива? – спросил Пьер.

– Так говорят. Я сам узнаю об этом сегодня вечером в Люксембурге на балу Директории.

– Ты приглашен?

– Мне должны прислать сюда, сегодня же, пригласительное письмо, со вложением...

Ивон не докончил своей фразы. Одна мысль вдруг поразила его.

– Черт возьми! – вскричал он. – Я сделал ошибку, которая может нас погубить. Есть ли еще время ее исправить?

И молодой человек бросился к звонку и сильно дернул сонетку.

– Зачем ты звонишь? – спросил Пьер.

– Слушай. Тот, от кого я получил сегодня утром приказания, должен прислать мне сюда вместе с приглашением на бал сумму в двести луидоров. По непростительной забывчивости я не сказал ему заимствованного имени, под которым я числюсь в этом доме. Любопытный болтун, хозяин, станет удивляться, когда посланный спросить меня под именем Бералека. Нужно сочинить какую-нибудь сказку этому человеку.

– Но зачем все эти предосторожности? – вскричал Пьер. – Мы можем являться всюду без маски. Мир, подписанный Республикой с Вандейцами, сопровождается всеобщей амнистией. Въезд в Париж открыт нам без препятствия и под нашими собственными именами.

– Ба! – воскликнул Ивон. – Можешь ли ты сказать, что нас ожидает в будущем? Осторожность никогда не вредит. Ты сейчас сам говорил, что этот неискренний мир будет недолгим, а впоследствии донос этого трактирщика может навлечь на меня опасность.

Пьер прервал Ивона на полуслове:

– Я кое-что придумал. Предоставь действовать мне, – сказал он.

Только что он закончил, как в коридоре раздался крик: «Да здравствует Директория!» Это было восклицание Жаваля, который, прибежав по звонку, нашел средство доказать свой патриотизм тем людям, которые, думал он, обязаны наблюдать за ним.

Бедняга-трус напрасно старался принять достойную осанку; он дрожал как лист, подходя к комнате и говоря самому себе:

– Подумать только, эти два чудовища могут одним словом отправить меня на расстрел!

– Ну, что? Ваша гостиница неспокойна? – сухо сказал Пьер. – Что это за рев раздался у вас в коридоре, гражданин Страус?

– Это я, гражданин! Это был крик любви и признательности, от которого я не могу удержаться ни минуты. Я бы задохнулся, если бы воскликнул: «Да здравствует Директория!» – униженно отвечал Жаваль.

– Браво, гражданин Страус.

– Извините, гражданин, но «Страус» – название моей гостиницы, а меня зовут Жавалем.

Пьер нахмурил брови и тряхнул трактирщика за руку.

— Э-э! — сказал он. — Что это значит, любезный? Разве вы забыли, что мы живем во дни царства свободы?

— Да, истинной свободы, — согласился испуганный трактирщик.

И чтобы подтвердить свое мнение перед тем, кого считал господином своей судьбы, он принялся выть:

— Да здравствует свобода!

— Ну так, — продолжал Пьер, — раз мы все пользуемся свободой, почему же вы запрещаете называть вас Страусом, если мне кажется это удобным?

— Это справедливо! — сказал покорно Жаваль.

— Очень хорошо, гражданин Страус. Не бунтуйте же против существующего порядка вещей, потому что мне кажется, что вы им недовольны; а вам, может быть, придется раскаиваться! — сказал молодой человек, грозно вращая глазами и растягивая последние слова.

— Мне! Придется раскаиваться! Он, верно, намекает на свою Гренельскую долину, — сказал про себя Жаваль, чувствовавший, что у него мороз пробегает по коже.

— Плохим патриотам плохо приходится со мной, клянусь вам честью кавалера Бералека! — прибавил Пьер.

«Вот как! Его зовут Бералеком!» — подумал Жаваль.

— Теперь, скажу вам, гражданин Страус, что я позвонил, дабы сказать вам, что хочу снять у вас комнату. Велите же приготовить ее.

— Соседний номер свободен.

— Так я его займу. Теперь ступайте, Страус, и не грешите больше.

Жаваль удалялся, когда Пьер закричал:

— А я забыл сказать вам свое имя.

— Не беспокойтесь. Я знаю, что имею честь видеть под своей кровлей кавалера Бералека.

Господин кавалер только что удостоил назвать себя нечаянно.

— Ну, так можете уйти, и с этого дня заботьтесь обо мне... для вашей же выгоды.

— Я из кожи вылезу, чтоб угодить господину кавалеру, — пробормотал Жаваль, пятясь к дверям.

Проходя коридором, трактирщик отирал со лба пот и говорил:

— Какой тигр этот кавалер Бералек! Нужно его приручить, или он без зазрения совести велит меня расстрелять. Другой, гражданин Работен, мне кажется более кротким.

Чтобы дать жильцам доказательство своего жгучего патриотизма, он начал кричать на лестнице во все горло:

— Да здравствуют свобода!.. Республика!.. и Директория.

Эти крики долетели до молодых людей, и они разразились смехом.

— Из-за нашей шутки он разгонит всех других своих жильцов, — сказал, развеселившись, Пьер.

Но Ивон скоро опять стал серьезным.

— А ну, Пьер, — воскликнул он, — ты с ума сошел, что ли?

— Отчего?

— Я тебе говорил, что может возникнуть неприятность, если этот безмозглый узнает мое имя, а ты тотчас же не только поспешил выдать его, но еще и присвоил себе, чем навлек на себя опасности, которые могут возникнуть в будущем.

— Э-э, мой милый! Маленькая неприятность не наскучит мне; она займет мое праздное время в Париже: ведь здесь страшно скучно, когда никого не знаешь.

В эту минуту послышался скромный удар в дверь и покорный голос произнес:

— Это я, ваш Страус, господин кавалер. Я принес вам маленький пакетик, который поручено вручить вам.

— Хорошо, войдите, Страус.

Жаваль почтительно подал Пьеру посылку аббата Монтескью и удалился, все пятым задом.

— Заботьтесь же обо мне хорошенъко, одно говорю вам, — строго повторил ему Пьер.

— Не пожалею себя для вас, господин кавалер, услугу за четверых.

— Четыре — ничтожное число!!!

— Тогда за восьмерых, — поспешил сказать трактирщик, у которого вид нахмуренных бровей Пьера вызвал опять крупные капли пота на лбу.

Только что вышел он за двери, как эхо коридоров громко начало повторять его возбужденный рев:

— Да здравствует Директория!

Пакет аббата содержал, как и предполагал Ивон, кроме двухсот луидоров еще и приглашение на бал.

— Теперь надо постараться преобразиться в Щеголя, так как в этом костюме я отправлюсь к гражданину Баррасу, — сказал кавалер.

Пока он одевается, а Пьер помогает ему, набросаем портрет верного товарища Ивона.

Тот, кого Бералек по-дружески называл Пьером, был граф Кожоль. Оба молодых человека были вскормлены одной кормилицей, отчего часто называли друг друга братьями. Граф Кожоль, будучи одних лет с кавалером, не имел его красоты и геркулесовской силы, но тем не менее был столь же неустршим и так же сильно жаждал опасностей и приключений. Пьер Кожоль обладал перед своим другом, на которого несчастье первой любви часто наводило грусть, тем преимуществом, что имел в себе неиссякаемый источник веселости, которую не могло заглушить в нем присутствие самой серьезной опасности.

Во время шуанства, когда он командовал толпой своих собственных крестьян, Кожоль сумел воздержаться от тех ужасных жестокостей, которые как у белых, так и у синих, были известны под именем возмездия и навсегда запятнали эту беспощадную войну. Жажда битв заставляла Пьера убивать, чтобы защищаться и побеждать, но как скоро кончалась борьба, его веселость брала верх, и в то время когда другие убивали своих пленников, он довольствовался тем, что заставлял отрезать им длинные волосы, которыми так гордились республиканские солдаты, а потом отсыпал их совершенно голыми, оставляя им по платку в руках — закрывать себе лицо, когда им встретятся дамы, говорил он.

За этот способ… одевать враги окрастили его «капитан-портной».

У шуанов, которые любили давать различные прозвища, благодаря наблюдательности и осторожному уму, но особенно исключительному дара идти по следу друга и недруга, — он стал известен под именем Собачьего Носа.

Из того, что Кожоль, как мы сказали, не обладал замечательной красотой Ивона, не следует еще, что он был дурен. Пьер был красивым, хорошо сложенным и весьма добродушным юношем, являвшим всегда женскому взгляду смеющееся и в то же время честное и открытое лицо, на котором глаза в свое время загорались огнем неукротимого мужества и сильной воли.

Пьер имел множество любовниц, и очень хорошенъких, но все они прошли, не оставив и следа в его сердце, полном братской преданной дружбы к товарищу по оружию и другу молодости Ивону Бералеку.

Когда тому напророчили смерть на эшафоте, Пьер, не задумываясь, вскричал: «Дележ пополам!»

Пока мы набрасывали этот портрет, туалет Ивона был окончен. С головы до ног он был одет как истинный щеголь; ничего не было забыто: сапоги, одежда с длинными фалдами, широкий жилет, волосы, висевшие наподобие собачьих ушей; а шея вся уходила в белый кисейный галстук, торчавший в виде воронки.

— Твоя голова похожа на цветы в порт-букете! — вскричал Пьер, заливаясь хохотом.

— Так ты находишь, что я хорошо представляю чудака, красавца невообразимого? — спросил Ивон, подражая жеманному языку Щеголей, которые, как мы сказали, выбрасывали из слов букву «р».

— А, любезный друг, я предсказываю тебе полный успех, какой ты уморительный, честное слово! — отвечал шутник Кожоль.

Кавалер наполнил карманы панталон золотом, в карман же куртки спрятал пистолеты, надел треуголку на голову и, подойдя к Пьеру, сказал уже серьезно:

— Теперь, брат, я иду на завоевание этой женщины. Она, как меня уверяли, окружена опасностями, от которых до меня погибло трое. Очень вероятно, что и я не вернусь. Где буду я? Не знаю. Но я вверяю себя тебе, тебе, которого наши шуаны прозвали Собачьим Носом; ты отыщешь мой след и придешь освободить меня, если я попаду в какую-нибудь засаду, или отомстишь за мою смерть, если я буду убит.

— Решено, — сказал Пьер.

— Если завтра утром меня не будет здесь, то ты отправишься в поход.

— Понимаю.

Друзья обнялись, и Ивон Бералек поехал в Люксембург.

Утомленный путешествием, Пьер Кожоль добрался до соседней комнаты, приготовленной для него Жавалем. Едва успел он войти туда, как крик «Да здравствует Республика» раздался у самой двери, и содержатель гостиницы явился с подносом, на котором красовались холодный цыпленок, пирожки и бутылка бордо.

— Видя, что гражданин Работен уходит, — сказал он застенчиво, — я подумал, что господин кавалер Бералек захочет, может быть, проглотить кусочек перед сном, и осмелился принести ему эту скромную закуску.

— Но, милый Страус, этот ужин будет мне стоить страшно дорого?

— Совсем нет, господин кавалер, ужин включен в плату за комнату.

— А сколько стоит комната?

— Сколько угодно будет назначить господину кавалеру, — вкрадчиво ответил трепещущий содержатель гостиницы, думая в то же время: «Сделаем тигра ручным, иначе я расстрелян!»

— Пусть будет так, я согласен, — сказал Кожоль. — А ну-ка, Страус, я устал и хочу спать; желательно было бы убедиться, что в вашей гостинице спокойно.

Жаваль сделал головой отрицательной знак.

— Как? Нет!.. Ты смеешь говорить нет!

Трактирщик поспешил извиниться.

— Простите, господин кавалер, тысячу извинений, но у меня болят шейные нервы; поэтому часто кажется, что я говорю «нет», когда хочу сказать «да». О, да! В моей гостинице тихо, кроме вас нет никого... вы совершенно одни... все мои постояльцы уехали часа два тому назад.

— Вот как!

— Да, они объявили, что не хотят больше жить в шумном доме, в котором то и дело слышится во всех коридорах и на всех лестницах: «Да здравствует то или это!»

— Сожалеете ли вы, Страус, об отъезде этих фальшивых патриотов? — строго спросил Пьер, которого сильно забавлял страх трактирщика.

— А! Кавалер, мое величайшее счастье состоит в том, чтобы пожертвовать жизнью свою на служение вам одному, — поспешил с ответом недоверчивый Жаваль.

Выпроводив своего хозяина, Кожоль поужинал с отличным аппетитом, потом лег спать. Перед самым сном молодой человек прошептал:

— В настоящую минуту Ивон танцует менуэт со своей незнакомкой.

Усталость нагнала на него продолжительный сон, и было уже очень поздно, когда он проснулся на другой день. Первой его заботой было поспешить в комнату друга.

Она была пуста и постель не смята. Ивон не возвращался.
При виде этого молодой человек побледнел.
– Вот, – сказал он грустно себе самому, – вот минута, мой бедный Собачий Нос, показать твой талант отыскивать след!

IV

Было около половины десятого, когда кавалер Ивон Бералек приехал в Люксембург. Ночь, опустившаяся на землю, таяла в ярком блеске иллюминации приватного сада, где толпа искала прохлады, в которой ей отказывали залы нижнего этажа. Одни игроки в вист, кропс и фараон оставались в опустевших комнатах.

Да позволит нам читатель совершить маленькую прогулку в это любопытное прошлое, которое зовется эпохой Директории, и показать ему частичку общества, из которого вышла Империя.

В это время, когда вокруг непрочной власти поднималось столько разных политических деятелей, этот официальный бал ясно выставлял напоказ все стремления честолюбцев, которые торопили или оттягивали падение Директории. Глаз наблюдателя легко отличил бы в этой толпе, казавшейся при первом взгляде столь пестрою, три группы: группу Директории, группу бонапартистов и, наконец, республиканцев.

Вокруг госпожи Талльен, которую ее необыкновенная красота делала, бесспорно, царицей этого роя Чудих и модных женщин, составлявших свиту Директории, группировались все те, кто успел прославиться красотой или расточительностью: хорошенькая госпожа Пипелет, разведенная супруга бандажного мастера, позже – принцесса Сальм; прелестная госпожа Рекамье, занимавшая в данное время плохое помещение в улице дю Мель, но некоторое время спустя давшая в отеле, занимаемом впоследствии госпожей Легонь, ряд тех праздников, на которых через несколько лет сокрушительное банкротство ее мужа загасило все свечи; Гамелин, не совсем красивая, но грациозная и добродушная брюнетка, одна из первых танцовщиц того времени, когда танец возведен был в искусство, сходившая с ума от греческих мод и все украсившая *à la grecque* в своем восхитительном отеле на улице Шоша; госпожа Сталь, остроумная дурнушка, о которой Лемерье выражался так: «Во всей ее наружности хороша одна рука да кисть руки»; госпожа Гингерло, красота несколько дубоватая, которую Буфлер называл десятой музой; госпожа Шато-Рено, кроткая и немного «слишком» рослая дама; госпожа Витт, веселая молодая особа, которую прозвали дочерью народа, потому что народ усыновил ее после убийства ее отца, Лепелетье де Сен-Фаржо и так далее, и так далее.

Вот батальон Чудих, этих знаменитых клиенток госпожи Жермон, великой жрицы моды, этой прославившейся портнихи, талант и достоинство которой заключались единственно в искусстве почти совсем обнажать дам, надевая на них прозрачную кисею, плотно облегавшую стан, так что Чудихи, во избежание складки от кармана, носили носовой платок в ретикуле, небольшом мешочке, который впоследствии стали называть ридикюлем⁵.

Брошенная в тюрьму во время Террора, госпожа Талльен, думая, что стоит на пороге эшафота, заранее обрезала себе волосы, боясь прикосновения палача. Падение Робеспьера возвратило ей свободу, и она опять появилась в свете с новой прической, состоявшей из коротких полузавитых локонов *«à la tirebouchon»*⁶, введенной ею в моду под названием *«à la victime»*⁷. Следуя примеру этой знаменитой властительницы «хорошего тона», Чудихи бессмысленно поспешили также укоротить свои волосы.

Вокруг этих дам, цариц танца, порхали знаменитые танцоры того времени, например: Дюпати, писатель, из всего своего литературного хлама известный в наше время лишь этими двумя наивными стихами:

⁵ Ridicule (*фр.*) – нелепый, смешной.

⁶ Штопор (*фр.*).

⁷ Жертва (*фр.*).

Quand on fut toujour à vertueux,
On aime à voir lever l'aurore⁸.

Лафит, впоследствии знаменитый банкир, тогда же – первый приказчик дома Перрего. Наконец, Тренис, давший свое имя одной фигуре в кадрили, знаменитый Тренис, который так серьезно относился к танцам, что наконец умер, сойдя с ума от них. В пору его славы, когда он с уверенностью говорил: «Я знаю только трех великих людей во всем свете: самого себя, короля Пруссии и Вольтера», – Тренис видел, что его репутации танцора, до того времени неоспоримой, угрожает опасность от Лафита. Поэтому он ходил из дома в дом, везде повторяя эту фразу, получившую историческую известность: «Да, ваш Лафит танцует кадриль недурно, хотя не слишком-то хорошо выделяет ассамбле; но никогда! решительно никогда! слышите ли? никогда не сделать ему настоящего глубокого „реверанса шляпы“ в менуэт! У плуга слаба рука!!! Что же касается гавота, то он хорошо выделяет в нем свои первые такты, но я поражаю его в жете. Словом, может быть, он сдавливает меня под коленами, я же душу его между икрами!!!» (Как ясно, что этот человек рехнулся!)

В это время, когда спекуляции упавшими ассигнациями и многочисленными подрядами на припасы неожиданно доставляли невероятные и быстрые обогащения, банк находился в полном процветании. Банкиры – фаты и расточители, примешивались к толпе Чудих, из которых не одна держала в своих руках ключ от упомянутых подрядов, и в конвое этих дам можно было отличить основателей банкирских домов, из которых некоторые известны и теперь: Готтингер, Перрего, Рекамье, Уврап, Сегин, Бастеррем, Пурталес, братья Мишель, Делессерт, братья Анфантин и другие.

Мы сказали выше, что приглашенные Барраса разделялись на три группы. Мы описали первую. Переходим теперь ко второй.

Группа Бонапартов: в углу сада собралось семейство того, чей подвиг дал повод к торжеству. Рядом со строгой Летицией, госпожой Бонапарт-матерью, стояла ее невестка, супруга победителя Италии, бедная Жозефина. С завистью и сожалением следила она за толпой Чудих, в среде которых сама принимала такое блестящее участие и где царила ее прежняя близкая подруга, госпожа Талльен, с которой, приказ нетерпящего возражений мужа принудил ее разорвать отношения. Воля Наполеона отняла у нее безрассудную роскошь и все эти безумные радости, которые она так любила. Кроме того, она чувствовала себя неловко в кругу родственников мужа, недолюбливавших ее за замужество, служившее, по их мнению, препятствием к блестящей будущности, которой они бредили и которую назначали своему брату и сыну. Несмотря на свои тридцать пять лет, благодаря глубокому знанию искусства одеваться, грациозная и кроткая креолка еще очень хорошо разыгрывала молодую женщину, пока неловкая улыбка не открывала ее испорченных зубов.

Вокруг нее собирались Жозеф Бонапарт и его жена Клари; Люсьен Бонапарт, высокий и сухощавый долгоногий паук в очках и под руку с ним кроткая Христина Буае, впоследствии его первая супруга; Марианна Бакчиочки, которая после года замужества примчалась в Париж, чтобы блюсти интересы отсутствующего брата. Шумная, бешеная, веселая, окруженная толпой поклонников, Паулина Леклерк, впоследствии называвшаяся принцессой Боргез, поражала той красотой, которая была бы совершенна без ее страшных ушей. В углу болтали трое детей, из которых старшему было не более шестнадцати лет: Гортензия Богарне, грациозная блондинка, воспитанная матерью, Каролина Бонапарт, будущая супруга Мюратова, которая для этого бала была отпущена из пансиона г. Кампан, так же как и Жером Бонапарт из коллегии Жюиля.

Этому семейству недоставало только Людовика, который последовал за Наполеоном в Египет.

⁸ Кто всю жизнь был добродетелен, тот любит смотреть на восход авроры (*фр.*).

К группе присоединились дальновидные люди, почувствовавшие, откуда дует ветер. Хитрый директор Сиеза, чувствуя, что его власть шатается, заготовлял себе прочную будущность; министр Талейран; плут Фуше, собирающийся захватить полицию; Жубер, вскоре убитый в Нови. Но все ухаживания семейства сосредоточились на Бернадоте, возвратившегося со своего посланнического поста в Вене накануне принятия портфеля военного министерства, этой должности, на которой Бонапарты считали необходимым иметь союзника. Не подозревая цели этих ласкальств, Бернадот пристал к группе из любви к сестре госпожи Жозеф, другой девицы Клари, на которой собирался жениться.

Третья группа – патриотов, была немногочисленна, потому что истинные республиканцы пренебрегали, как они говорили, сатурналиями Барраса. Назовем Мерлина Дуэ, которого лишение должности заставило недавно выйти из Директории; генерала Моро, генерала Шампионнета, который пять дней тому назад был рассчитан военным Комитетом, Бенжамена Констана, тогда еще только начинавшего свою карьеру; Фонтан, Ожеро, так называемый генерал Фруктидор, который в полном разгаре бала отпускал свои плоские казарменные прибаутки; Ребвель и горбун Ла Ревелье, два экс-директора, потом Гойе, Мулен и Роже Дюко, составлявшие до Барраса и Сиеза настоящую Директорию.

Давид, как бы одинокий между всеми республиканцами, ибо его громадный талант не мог заставить забыть отвращение, внушаемого его видом, расхаживал здесь взад и вперед. Безобразной наружности, жестокий характером, экс-рукоплескатель и часто даже советник самых кровавых распоряжений Террора, раб перед всякой возрождающейся властью, всеми отталкиваемый, презираемый, особенно артистами за его высказывание Робеспьеру: «Можно стрелять картечью во всех артистов, не боясь убить патриота!»

Таким образом составились три группы. Если в них и было нечто смешенное, то потому только, что между ними флантировала многочисленная толпа молодых, горячих Щеголей, из которых девять десятых выражали мнения роялистов.

Таковы были партии, цеплявшиеся за власть. Каждый, сам еще не будучи в состоянии объяснить того, чувствовал себя накануне важного события и держался настороже, чтобы лучше им воспользоваться.

Теперь после нашей попытки объяснить различные стремления, волновавшие умы честолюбивых гостей Барраса, возвратимся к нашему герою, кавалеру Ивону Бералеку, который, как помнит читатель, явился на бал в ту минуту, когда часы били половину десятого.

«Ощупаем сначала почву под собой», – подумал Ивон, вступая в первый зал.

Жара, как мы сказали, выгнала всех гостей из залов, где остались лишь игроки, ни один из которых не обратил внимания на новоприбывшего.

Молодой человек обошел все комнаты.

У открытой двери уединенного будуара он остановился.

Мужчина лет тридцати, с красивым еще, хотя несколько помятым, лицом, изящно одетый, стоял перед часами.

«Вот человек, которого мне надо, – подумал Ивон. – Он поможет мне отыскать и женщину».

Это был Баррас, в нетерпении от мучительного ожидания удалившийся в эту комнату, окно которой, выходившее на улицу Вожирар, позволяло ему подстерегать ту, которая сумела обуздить его непостоянство.

Взволнованный и нетерпеливый, он топнул ногой.

– Никогда, однако, не наступят эти десять часов! – прошептал он.

Он стоял спиной к двери. Ивон неожиданно вошел в будуар, крича на щегольской манер:

– Э, да это гажданин Диекто! А, ба! Господин Баас, что за наод вы назвали? Какие-то нищие, честное слово! Ни одного любезного господина, чтоб избавить меня от моих двухсот луидоов в хоть какой-нибудь иге.

Из всех страстей, разорявших Барраса, страсть к картам была самая сильная, превосходившая даже его любовь к женщинам. При виде золота, брошенного Щеголем на игорный стол, подле костей крепса, Барраса моментально загорелся азартом. Он подумал, что время, казавшееся ему вечностью, пройдет скоро в обыгрывании неожиданно встретившегося ему противника.

Поэтому он отвечал, улыбаясь:

– Если вы не нашли между всеми моими приглашенными желанного для вас человека, то разве вы не знаете, что я обязан быть к услугам гостя, когда он в затруднении?

– Вот это хоошо сказано! – вскричал кавалер, усаживаясь за стол.

– Только предупреждаю, что я должен оставить вас через двадцать минут, – сказал Баррас.

– Это больше, нежели нужно, чтобы поиграть безделицу, состоящую из двухсот луидоров.

Бросая кости, Ивон думал: «Если я у него выиграю, то он без всякого затруднения оставит меня. Если же, напротив, я ему высыплю свои деньги, то деликатность заставит его вернуться, чтоб дать мне отыграться».

Когда было десять часов, кавалер проиграл сто луидоров.

В эту минуту вошел швейцар и прошептал что-то на ухо Баррасу. Тот поспешил встал.

– Извините, гражданин, я должен встретить одну только что приехавшую даму.

– Пожалуйста, не стесняйтесь, гражданин, я буду тепеливо ждать вашего возвращения.

Баррас бросился вон.

«Ты уж отведал приманки, – думал Ивон. – И вернешься снова, чтобы попасться на удочку».

Он с чисто бretонским хладнокровием оставался у стола, на котором лежала ставка еще не доконченной партии. Осматривая будуар, он говорил себе:

– Это, наверно, убежище Барраса, куда он удаляется от шума и толпы; поэтому он вернется в свое логово и приведет ко мне свою красавицу, когда устанет прогуливаться с ней.

Скоро он догадался по гулу, долетавшему из залов, о приближении Директора, но в сопровождении многочисленной свиты. В зеркале, отражавшем длинную анфиладу комнат, к которым он сидел спиной, Бералек увидел подходившего Барраса, веселого и сияющего и окруженного Чудихами.

– Кто же из всех этих милых созданий – именно та... которую я ищу? – спрашивал себя Ивон.

Толпа прелестниц ворвалась в будуар, не обращая внимания на присутствие молодого человека и продолжая осаждать сластолюбивого Директора просьбами удовлетворить их жадное любопытство.

– Ну, полноте, виконт Баррас, бросьте вашу секретность и скажите нам, откуда у вас эта богиня красоты? – спрашивала госпожа Талльен.

– С Олимпа, на котором вы царствуете, красавица Венера, – отвечал Баррас.

Светский язык описываемой эпохи при обращении с этими дамами, так мало прикрытыми одеждой, требовал употребления древних имен и названий. Если женщины не были богинями Олимпа, то обращались в Аспазий, Лаис или по меньшей мере в обольстительных афинянок.

– Исповедуйтесь, любезный директор, вы еще успеете, пока ваша таинственная красавица танцует менуэт с Тренисом; этот бог танцев употребляет добрую четверть часа только на один свой знаменитый реверанс шляпы, – сказала госпожа Гамелин.

– Да, да, исповедуйтесь-ка! – кричал хор женщин.

– Э, дамы, – возразил со смехом Баррас, – она явилась ко мне в одно прекрасное утро...

– О! Гражданин Баррас, в прекрасное утро! Откровенны ли вы? Не прекрасный ли вечер? – лукаво поправила госпожа Шато-Рено.

– Утром или вечером, не все ли равно? – сказал Директор.

– Очень даже не все равно. Определите точнее.

– Да, точнее, точнее! – воскликнул батальон любопытных женщин.

– Ах! Ну так был полдень.

– А! Час вашего отпуска, это кстати… Очень хорошо! Больше мы не спрашиваем, мы узнали главное, – сказала Леклерк.

Паулина Бонапарт, сходившая с ума от удовольствий, шума, гвалта и необыкновенной атмосферы праздника, часто убегала от своей строгой семьи и смешивалась с толпой Чудих, которые ненавидели ее и с лихвой воздавали ей за ее колкий язычок.

– Но виконт не сказал еще, откуда у него эта красота! – настаивала госпожа Гингерло.

Преследование возобновилось.

– Да! да! Откуда она? – подхватила толпа.

– Я вам сказал: из тех же стран, откуда и все вы, mesdames, для блаженства тех, которые восхищаются вами… с неба, – возразил галантный, но скромный Баррас.

– Откуда бы она ни была, она чрезвычайно красива, – заметила госпожа Рекамье.

– Да, у нее длинные великолепные волосы, которые ей гораздо больше к лицу, чем эти ужасные модные сосиски, – просвистала Паулина Бонапарте, которая, сохранив свою длинную прическу, намекала на завитки «a la tirebouchon» госпожи Талльен, красоте которой она завидовала.

В ответ на нелестное сравнение своих кудрей с сосисками госпожа Талльен кротко возразила:

– Да, вы правы. У этой дамы замечательные волосы, которые она не начесывает на уши.

Удар был меток. Если б паркет будуара не был покрыт ковром, то присутствующие услыхали бы бешеное топтанье ножек госпожи Леклерк, уши которой, длинные, тонкие, без ясных очертаний, приводили Паулину в отчаяние.

Баррас, видевший приближение грозы и желавший отвратить ее взрыв, вскричал:

– Прелестные афинянки, пока вы меня здесь преследуете, вы пропустите концерт гражданина Гарата.

– А! Сегодня поет Гарат? Вот приятный сюрприз!.. Браво! – кричала толпа, бредившая этим певцом, который обрел громкую славу в многом благодаря смешной аффектации, прельстившей Чудих.

– Да, дамы, – продолжал Баррас, – и не один Гарат, но и Эллеву, которому Директория разрешила въезд в Париж.

Этот артист, бывший тогда в большой части у женщин, замешанный в какой-то схватке полиции с «золотой молодежью», одним из лидеров которой он был, должен был бежать в Страсбург, чтобы скрыться от преследования Директоров, решивших послать его в армию, сражавшуюся в Италии.

Едва услышав имена двух обожаемых певцов, Чудихи прицепились к Баррасу.

– Пойдемте же, гражданин Баррас, ведите же нас. Дайте приказ, чтоб концерт начался скорее.

Во время этого разговора кавалер отошел к окну, откуда незаметно наблюдал за всем происходящим. Теперь он счел нужным вмешаться в разговор и, обращаясь к дамам, вскричал:

– Извините, гажданки, но господин Баас должен мне патио, чтоб дать отыгаться, и я ее тебею!

Горя нетерпением присоединиться к любимой женщине, Баррас заговорил с Чудихами о концерте с единственной целью – избавиться от них, но при вызове Ивона он подумал, что игра разгонит этих женщин, а потом он легко может отделаться и от молодого человека. Поэтому он сразу подхватил:

– Это правда, сударь, у меня ваших сто луидоров.

Но Баррас не принял во внимание красоту Ивона, которая в эту эпоху распущенности поразила женщин.

Они спрашивали себя, откуда взялся этот незнакомый кавалер, который носил наряд «шеголя», но которого они, однако, никогда не видали в своей свите.

Не показывая вида, что заметил общее волнение, Ивон сел за стол и бросил кости, говоря:

– Пятьдесят луидоров, гажданин!

– Идет! – отвечал Баррас.

Директор между тем старался под каким-нибудь предлогом проводить дам, обступивших игроков со всех сторон.

– Ну, что ж? Прекрасные богини, вы забываете о Гарате и Эллеву?

Но они и не думали уходить, а смеялись, кокетничали и заигрывали с Баррасом, чтоб привлечь внимание Ивона, который, весь погруженный в игру, не поднимал глаз от карточного стола.

Баррас же, ежеминутно отвлекался, делал ошибку за ошибкой, удваивал, утраивал ставку после каждой проигранной партии.

– Вы мне поигрели восемьсот луидоров, гажданин Диекто, – скоро объявил Ивон.

– Ставлю на квит или вдвоем.

Партия возобновилась. Но вдруг женская болтовня стихла, и послышались легкие шаги.

«Кто-то вошел», – подумал Ивон. И этот кто-то, должно быть, женщина, судя по тому, что эти болтушки замолчали, увидав ее. Он поднял голову. Глаза всех Чудих устремились на кого-то позади него. Он мог более не сомневаться: вошла женщина и остановилась за его столом, увидев играющих. «Это она», – подумал Бералек. И, не произнеся ни слова, продолжил игру, как будто не заметил нового соседства. Если бы он еще колебался, то выражение лица его партнера убедило бы Ивона окончательно, что он не ошибался.

Баррас пожирал глазами женщину, стоявшую за спиной кавалера, и мысли Директора были уже далеко от игры. Он торопился выйти из-за стола, но едва заметный знак его любовницы приказывал ему кончать партию.

Он проиграл без борьбы.

– Не хотите ли отыгтаться? – предложил Ивон.

– Вы позволите мне отказаться? – отвечал Баррас.

Так как в это время господства ассигнаций тысяча шестьсот луидоров составляли огромный куш, который проигравшему трудно было выплатить тотчас же, так же как и выигравшему неудобно унести с собой, Баррас отстегнул одну из печатей от цепочки своих часов и, подавая ее Ивону, сказал:

– Потрудитесь прислать мне эту вещицу завтра с вашим лакеем.

Ивон принял печать.

– Гажданин Диекто, – отвечал он, – эта вещица стоит тепей так доого, что она достойна быть предложеню в виде подайка. Позвольте отдать ее на память о вас.

И, не дожидаясь ответа Барраса, Ивон встал и повернулся, кланяясь.

Да, женщина стояла позади него.

Склонив голову, кавалер подал печать, говоря:

– Снизойдите, madame, пинять эту вещицу.

Маленькая ручка потянулась к нему.

Тогда Бералек поднял голову.

Глаза их встретились, и Ивон побледнел. Лицо женщины вдруг передернулось от болезненного удивления, она дико вскрикнула и, зашатавшись, упала без чувств.

Не попытавшись даже помочь ей, Ивон, пользуясь переполохом, бросился к двери.

Он наткнулся на группу входивших людей, в числе их был Фуше. Кавалер мимоходом толкнул его локтем и исчез прежде, нежели кто-то вздумал остановить его.

Чудихи толпились около упавшей в обморок женщины, когда Баррас отстранил их и обратился к Фуше:

– Помогите мне перенести ее на софу.

Вдвоем они подняли ее. В это мгновение губы молодой женщины зашевелились.

– Она говорила. Что она сказала? – спросил Баррас, который поддерживал ее ноги.

– Я ничего не понял, – отвечал Фуше.

Она произнесла несколько слов, и Фуше отлично разобрал их.

Воспользовавшись суетой вокруг этой таинственной красавицы, Ивон покинул бал и какое-то время бежал куда глаза глядят. Мало-помалу спокойствие вернулось к нему, он перешел на шаг и осмотрелся.

– Где я? – спрашивал он себя.

Он находился в нижней части улицы Сены, месте мрачном, глухом и небезопасном в эту пору ночи.

Он остановился перевести дух, но вдруг ясно рассыпал шум шагов, раздавшихся в ночной тишине.

«Уж не собираются ли напасть на меня?» – подумал Ивон.

И в тот же миг дюжины людей нагнала его и попыталась окружить.

В одну секунду Ивон выхватил пистолеты и прислонился спиной к ставням какой-то лавочки.

– Эй вы! Негодяи! – кричал он. – Берегитесь! Вы имеете дело с человеком, который сумеет постоять за себя.

Не обращая внимания на эти угрозы, Ивона взяли в кольцо и бросились на него по сигналу, данному шепотом:

– Кыш! Кыш! К точильщику!

V

Найдя комнату друга пустой, Пьер Кожоль, сказали мы, тотчас же вспомнил о поручении Ивона Бералека, которое тот дал, уходя из гостиницы «Страус».

— Если я завтра утром не вернусь, отправляйся на поиски — или освободить меня из западни, которую мне могу приготовить, или отмстить за мою смерть.

Граф Кожоль вернулся в свою комнату и быстро переоделся в костюм работника. Он спрятал пистолет под куртку и запасся крепкой дубиной, которой, как всякий бретонец, умел отлично владеть.

— Итак, в поход, Собачий Нос! — сказал он себе.

Страх не давал Жавалю сомкнуть глаз. С самого раннего утра трепещущий трактирщик поместился на стуле в своей передней и, вытянув нос, глазами впившись в ряд колокольчиков от разных комнат, четыре часа терпеливо ожидал звона колокольчика из № 12-го, чтобы вскочить при первом зове своего страшного жильца.

Следя за колокольчиками, трус предавался таким грустным размышлению:

«Я бы охотно прокричал: „Да здравствует Республика!“ — но если тигр спит, то он может рассвирепеть при неожиданном пробуждении. Вот уж восемь часов... А долго же спать в полиции!.. Остался ли этот палач доволен моим бордосским? Я помню, что разбавил несколько бутылок для иностранных путешественников: лишь бы ему не попалась одна из них! И каково подумать, что у меня нет других постояльцев, кроме этого полицейского шпиона! Все разбежались от моих патриотических криков! Если этот кошмар продолжится, то я разорен в прах!»

Несмотря на свое отчаяние Жаваль имел одно утешение.

«Ба! — рассуждал он. — По-моему, все-таки лучше разориться, чем быть расстрелянным. Да наконец, я укрошу этого свирепого зверя своим усердием, предупредительностью, а особенно дешевизной моего заведения», — прибавил он с глубоким вздохом, при воспоминании о принятом обязательстве отказаться от обдирания путешественников.

Потому читателю понятно волнение Жаваля, когда он увидел сходящего с лестницы постояльца, чье пробуждение он караулил с таким страхом.

— Страус, я, вероятно, не вернусь до вечера, — сказал Пьер.

— Разве господин Бералек выйдет с пустым желудком? Гражданин, должно быть, не знает, что и завтрак включен в цену комнаты?

— Итак, вы меня не будете ждать, — прибавил Кожоль, не обращая внимания на вкрадчивую речь Жаваля.

— В таком случае, вернувшись, гражданин найдет в своей комнате ужин и одну... и даже две бутылки того бордо... которым, надеюсь, господин остался доволен, — сказал хозяин со смутным страхом при мысли о том, что он мог подать своему ужасному постояльцу бутылку, мошеннически разбавленную для иностранцев.

Но, торопясь и беспокоясь, граф Кожоль вышел, не отвечая на предупредительность Жаваля, который, стоя у порога, провожал его глазами, бормоча:

— Куда это он отправляется в костюме работника? О! Эти полицейские шпионы очень искусны в переодевании.

Он внезапно побледнел.

— Да, куда же он?.. Может ли быть, что чудовище отправляется с доносом на меня? Он ушел, мрачный и задумчивый. А я-то забыл крикнуть: «Да здравствует Директория!» Он, конечно, идет заказывать ружья! Ах, Боже мой! Я чувствую, что совсем болен, пойду проглочу своего успокоительного.

Пока Жаваль сокрушался о своей судьбе, Кожоль быстрым шагом шел по улицам Парижа.

Он достиг Люксембурга, размышляя:

— До приезда во дворец никакая опасность не могла угрожать моему храброму Ивону. Неприятель мог подстеречь его или на самом балу, или после того.

Пьер проник в публичный сад, который, как мы сказали раньше, возвышался уступами над оградой приватного. Кожоль оперся на мраморную балюстраду и оттуда увидел внизу работников, убирающих праздничные украшения.

«Если на балу произошел какой-нибудь скандал, в котором замешан Ивон, то эти работники ничего не могут знать о нем; нужно расспросить кого-нибудь из живущих в самом дворце или слугу», — думал Пьер.

Он вернулся назад, повернулся на улицу Вожирар и дошел до входа в Люксембург, обращенного на улицу Турнон.

На пороге, гордо вытянувшись, стоял мифический колосс, швейцар этих дверей, одетый в блестящий мундир, весь шитый золотыми галунами.

«Вот кто может дать мне некоторые объяснения», — решил Пьер.

Благодаря своему костюму, придававшему ему сходство с работниками, убиравшими бальный хлам, Кожоль смело вошел во дворец и прошагал мимо вызолоченного швейцара.

Сделав несколько шагов в передней, он вдруг повернулся и, возвратившись к блестящему привратнику, сказал:

— Ах, генерал, скажите мне...

Польщенный званием генерала (данным, по его мнению, за вызолоченный мундир), швейцар стал любезен:

— Что тебе, милый мальчик?

Кожоль принял таинственный вид и наудачу прошептал ему на ухо:

— Гм! Генерал, что вы скажете о вчерашней истории?

— Вот как! Так ты о ней знаешь, малый? — вскричал наивно швейцар.

Сердце графа забилось от радости при этом восклицании, указавшем ему на начало следа. Он покачал головой, говоря:

— О, я о ней знаю, не зная ее. Видите ли, генерал, как послушаешь того, другого, так никогда не доберешься до правды... разве только обратишься к серьезной и высокопоставленной особе... например к вам.

Высокомерный швейцар с удовольствием пил чашу этой грубой лести, которая развязала ему язык.

— Ну, так ты можешь увериться, насколько тебе налгали, потому что я скажу тебе всю правду, я! Истинную правду! — сказал громадный сторож, желавший разоблачить обманщиков из передней, до которой дошли неверные сведения.

— Узнаем истинную правду, генерал.

— Слушай. В то время как директор Баррас обнимал одну даму, вор подкрался к нему и собирался вытащить часы. Но ему удалось сорвать только один из брелоков. Дама хотела помешать бегству вора, но он свалил ее на землю ударом кулака. Жаль, что я вовремя не узнал об этом, а то легко бы схватил этого подлеца на выходе. Я как раз стоял у дверей дворца, когда он быстро проскакал мимо. А я еще подумал: «Вот мальчик, которому ужасно хочется догнать хорошенькую упорхнувшую танцовщицу». Как сейчас вижу его, бегущего, как спущенная стрела, в улицу Турнон.

— И это истинная правда?

— Мой славный друг Баррас сам рассказал мне все, — нагло возразил швейцар.

— Благодарю, привратник.

И Пьер удалился, оставив швейцара в удивлении от такого прощанья, так резко противоречившего приветствию.

Кожоль хорошо понимал, что этот пустоголовый передал ему только ложные, глупые сплетни слуг, не знавших ровно ничего. Но из всего рассказа он обратил внимание на одну фразу швейцара, который в этом случае, конечно, не лгал.

Эта фраза была: «Я еще вижу его, бегущего в улицу Турнон, как стрела, выпущенная из лука».

«Если по неизвестной мне причине, – размышлял Пьер, – мой добрый Бералек бежал к улице Турнон, то я должен следовать той же дорогой».

Шаг за шагом, не торопясь и не оставляя без внимания ни малейшей детали, он спустился к улице Турнон.

«В первые минуты своего бегства Ивон не мог оставить мне путеводных знаков, посмотрим ниже», – заключил Пьер.

Продолжая идти вперед, граф добрался до перекрестка Бюси. Там он остановился в нерешительности. Из трех дорог, открывшихся ему, направо, налево и прямо, которую должен он выбрать?

– Что это такое? – сказал вдруг Кожоль, всмотревшись в глубь улицы Сены и разглядев группу людей, находившихся в шагах тридцати от него.

То были любопытные, которые с испуганными лицами рассматривали лужу крови на мостовой перед фруктовой лавкой и в то же время прислушивались к рассказу человека, стоявшего на пороге своего магазина.

– Я не слыхал начала ссоры, – говорил он. – И уже спал в своей постели, когда меня разбудил выстрел, затем, пять секунд спустя, – паф! последовал другой. Битва продолжалась, раздавались хриплые бешеные крики, но уже без выстрелов, кто-то, должно быть, налетел на ставни, потому что они трещали под натиском. Потом – глухой удар, а за ним – сдавленный крик, и наконец наступила тишина, в которой я различил шепот: «Он умер, совершил над ним обряд одевания». Вы понимаете, каково мне было! Я боялся пикнуть и не выходил из комнаты до тех пор, пока не уверился, что шаги удалились.

– И тогда вы вышли, чтобы помочь жертве, если бы это понадобилось? – спросил Пьер, побледнев от волнения.

– Да, минут через пять я осторожно отворил дверь и увидел в темноте два тела, распростертые перед моей лавочкой… два, это верно. Я собирался уже выйти на улицу, когда услыхал чьи-то глухие шаги. Я поспешил опять захлопнуть дверь и притаился за нею. Незнакомец подошел, остановился на минуту, потом, произнеся «уф» – восклицание, свойственное человеку, поднимающему тяжесть – удалился, как мне показалось, ступая тяжелее, чем прежде.

– Тогда вы вышли второй раз? – снова спросил Кожоль, с лихорадочным нетерпением ожидая конца рассказа.

– Нет. Я боялся, чтоб меня не застал какой-нибудь возвратившийся бандит, я дождался рассвета, чтоб отворить дверь. Но на этот раз нашел только один труп и при виде его понял, что значил приказ, отданный шепотом: «Он умер: совершил над ним обряд одевания». Тело было обнажено, и лицо, с которого срезали нос, буквально изрублено ударами кинжала. Родная мать жертвы не узнала бы этого лица, так оно было изуродовано ранами!

– А куда же девалось тело? – вскричал Кожоль.

– Труп снесли в ожидании освидетельствования полиции, всегда медленной, как черепаха, в одну из нижних комнат Ниверне, в эту национальную собственность, на которую еще не нашелся покупщик.

Услышав это, Кожоль пустился в обратный путь.

Отель «Ниверне», расположенный на улице Турнон, был великолепным зданием, впоследствии купленным Парижем для устройства казарм.

Несмотря на душившее его горе Пьер сохранил присутствие духа.

«Там я найду, конечно, уже бесполезное подтверждение моей догадки, – думал он. – Мой дорогой Ивон умер, и убийцы обезобразили его труп, чтобы жертву не могли узнать».

Он остановился у отеля.

Несколько любопытных, выходивших из комнаты, обращенной во двор, указали ему дорогу, и он вошел. Труп лежал на столе.

Бледный и дрожащий, Кожоль приблизился, чтоб сказать последнее прости дорогому другу, которого больше никогда не увидит.

Чтоб не оставить никаких улик для розысков полиции, с трупа стащили все до последней рубашки, а лицо совершенно обезобразили. Отсутствие носа и глубокие рубцы, испещрявшие лоб и щеки, придавали этой голове что-то ужасное. На левой стороне груди виднелась круглая ранка, переполненная сгустившейся кровью и указывавшая путь, через который пуля прошла прямо в сердце этого человека, поразив его быстро, избавив от страданий и агонии.

Изрезанное лицо мертвеца вряд ли могло бы удивить любопытных, толпившихся в зале, потому что среди трупов, валявшихся на улицах Парижа послеочных кровавых схваток часто случалось находить тела с совершенно обезображенными головами.

Как ни был ужасен вид этого окровавленного лица, граф Кожоль при первом же взгляде на него почувствовал радость в сердце. Двух секунд достаточно было, чтоб убедиться: этот труп не принадлежал его другу – огромные грубые руки мертвеца не имели никакого сходства с нежными белыми руками кавалера.

Не теряя времени на отыскание других доказательств, Пьер вышел на улицу. Но после первой минутной радости страх овладел им.

«Нет, – рассуждал он. – Этот мертвец не Ивон, а я мог бы поклясться, что негодяя отправила на тот свет пуля моего храброго друга. Покойник принадлежал к какой-нибудь шайке, которая, без сомнения, имеет свои причины скрываться и потому обезображивает трупы убитых товарищей».

Горестная мысль заставила его остановиться.

«Но торговец фруктами сказал, что видел два тела, когда в первый раз отворял дверь! Не принадлежало ли второе кавалеру?»

Рыдания душили его, и он прошептал:

– Я слишком рано вздумал радоваться: мой дорогой Бералек погиб.

И тут одно воспоминание поразило его: слова лавочника о том, что кто-то после побоища вернулся на место схватки, охнул, как будто поднимал тяжесть, и медленно удалился, словно нес тяжесть. «Должно быть, он-то и унес другое тело», – подумал граф.

Он опять пустился обратно к фруктовой лавочке, где торговец двадцатый раз уже повторял перед новой группой свой рассказ, который Кожоль прервал вопросом:

– А в какую сторону направился человек, вернувшийся за телом?

– Я уверен, что направо.

Не расспрашивая дальше, Кожоль поспешил по улице направо.

– Да, – рассуждал он. – Туда, непременно туда, логика подсказывает, что все верно. Если этот человек, обремененный ношкой, повернулся бы налево, то он должен был подняться вверх к улице Турнон и таким образом рисковал привлечь к себе внимание людей, возвращавшихся с бала. Но кто же этот человек? Хороший малый, как видно, но только порядочной трусишки. У него не хватило храбрости, чтоб прийти на помощь Ивону во время самой схватки, которую он должен был видеть из-за угла. Но если он унес моего товарища, то, без сомнения, потому, что тот еще дышал и была надежда спасти его.

И Пьер радостно крикнул, не заботясь о мнении прохожих:

– Ур-ра! Ивон жив и находится в руках друзей.

Но веселость графа вдруг исчезла. Вид места, где он оказался, внушил ему мрачную мысль, которой он и закончил с дрожью в голосе свою речь:

— …Или в руках врагов, которые стащили его в воду.

Это мрачное размышление вызвала в нем близостью реки, у которой он вдруг очутился, спускаясь вниз по улице Сены. При этом ужасном подозрении Пьер почувствовал, что готов упасть от волнения, и поспешил облокотиться на решетку набережной.

Однако простоял так совсем недолго.

Присутствие человека на берегу воскресило в Пьере надежду, и он побежал к нему.

По виду это был добряк, с глуповатой физиономией, один из тех невинных безумцев, которые всю жизнь проводят на берегу реки, если только их не прихлопнет ревматизм.

Казалось, он просидел несколько часов за удочкой, судя по богатой добыче лежавшей возле него на холсте, в который он собирался завернуть ее.

— Эге, — сказал Кожоль, — гражданин снимает осаду?

Просидев столько времени нем как рыба, добряк рад был поболтать.

— О да! — отвечал он. — Солнце уж начинает пригревать; прохлада исчезает в воздухе, и теперь как раз время последовать правилу мудреца, которое гласит: «Довольствуйся малым!»

— Черт побери! — изумился Кожоль. — Вы называете это «довольствоваться малым»! Да у вас хватит рыбы на угощение целого полка. Для такого громадного улова требуется по меньшей мере два часа!

Добряк лукаво усмехнулся и возразил:

— Ага, сейчас видно, что гражданин не смыслит ровно ничего в рыбной ловле, иначе бы он сразу увидал, что мой улов — скромная награда за терпение, по крайней мере шестичасовое!

— Неужели?

— Я пришел сюда до зари, гражданин; да, до зари, — говорил рыбак, делая ударение на последнем слове с некоторою гордостью.

Таким образом граф выудил первую зацепку, которую желал получить, и, ободренный, продолжал свой ловкий допрос:

— До зари? В таком случае вы должны были видеть это место и в темноте?

— О! Нужно сначала нанизать приманку да подождать, пока клюнет рыба, на это одно потребуется час. Ну-с, так я забросил свою первую удочку только на рассвете, в половине четвертого.

— Самое время! Пока еще не мешают суда, волнующие гладь воды, и уличные мальчишки, которые то и дело кричат на берегу или же швыряют камни с мостов.

— Да, это так, — подтвердил рыболов.

— Правда также, — продолжал Пьер, — что вас могут беспокоить и разбойники, сбрасывающие в реку мертвые тела.

— Да, как это случилось в прошлом месяце.

— А потом?

— С меня и этого довольно! Натерпелся же я страху! Этот шум, который слышится от падения в воду тела… пух!.. ни с чем не спутать! Так мороз нутро и пробирает.

— Так нынешней ночью вы не слыхали этого «пух!»? — спросил молодой человек с притворным смехом.

— Слава богу, нет. А между тем я уж думал, что он опять повторится.

Кожоль вздрогнул от неожиданности.

— А как же это? — вскричал он.

— Только что я успел сойти на берег, как вдруг мне показалось при свете фонаря, что по набережной к Новому мосту идет человек, таша на плечах другого.

Пьер прекратил расспросы. Он оставил рыболова и поднялся на набережную.

«Человек прошел по Новому мосту, — думал он, — пойдем туда же!»

Он скоро достиг площадки, возвышавшейся у моста, на которой шесть лет тому назад красовалась статуя Генриха IV. В 1792 году Конвент велел переплавить ее и чеканить из ее меди монеты.

Хотя статуя исчезла, но тем не менее часовой сохранил свой пост на площадке.

Известна история одного французского маршала, который, видя часового у разрушенной скамьи, вздумал доискаться до причины этого караула. Оказалось, что пятьдесят лет тому назад эту скамейку выкрасили и приставили к ней сторожа, чтобы не дозволять публике садиться на нее.

С тех пор прошло полвека. Часовые сменялись один за другим, и никто больше не думал о снятии караула, нужда в котором давно отпала.

То же случилось и со статуей Генриха IV. Когда-то у подножия ее поставлен был часовой; с тех пор статуя успела исчезнуть, и вот уже шесть лет, как сторож расхаживал по опустевшей площадке.

Этот сторож принадлежал к драгунскому полку, под командой полковника Себастьяна. В эту эпоху финансового истощения лошади были чрезвычайно редки. Поэтому у кавалерийских полков, не участвующих в войне, они были отняты и отосланы войскам, сражающимся за границей.

Когда Кожоль проходил мимо драгуна, он заметил, что тот рассматривает на каменных плитах площадки большое пятно крови.

– Вот как, драгун! Здесь, надо полагать, убили сторожа нынче ночью? – спросил граф.

– О нет, гражданин. Товарищ, бывший в то время на карауле, рассказал нам, в чем дело. Надо полагать, что один из Щеголей налипался пьяным на балу Люксембурга. Возвращаясь домой, он наскоцил с размаху на острые колья ограды, которые пропороли ему голову. И вот один друг взялся дотащить к себе этого молодого полумертвого господина. Добравшись до этого места, провожатый остановился перевести дух и перевязать платком рану на голове своего приятеля, из которой кровь лилась ручьем.

– Он не отвел молодого человека в будку?

– Нет. Он собирался уже взвалить его себе на плечи, когда проезжавший мимо фермер предложил взять их обоих в свою карету, и товарищ Щеголя согласился.

– Знаете ли вы этого доброго человека?

– Нет. Но вот там, на углу Монетной улицы, стоит молочница, спросите ее: она должна знать. Вероятно, у него она и берет молоко.

Кожоль вскоре очутился подле молочницы.

– Скажите мне, добная женщина, – начал он. – Я ищу брата, который, говорят, опасно поранился прошлой ночью...

Молочница не дала ему докончить.

– Как? Это ваш брат, красавец, которого отец Этьен взял вместе с его товарищем в свою карету? А! Как он был бледен! Бедное дитятко!

– Кто этот отец Этьен?

– Фермер из Бург-ла-Рен, он поставляет мне молоко каждое утро.

– А где можно его найти?

– Если он завершил свой обезд, то должен быть в улице дю Фур, в трактире «Баранья нога», где он завтракает, пока его лошадь ест овес.

Через пять минут Кожоль уже входил в трактир «Баранья нога» и спрашивал отца Этьена.

Ему указали на краснолицего, еще бодрого старика, который в эту минуту опускал ложку в полную тарелку щей. При первом слове графа молочник ответил:

– Я довез вашего брата и его друга до улицы Мон Блан. У дома под № 20 мы остановились, и здоровый выпрыгнул из кареты и взял своего больного товарища на руки.

– И вошел в № 20?

– Вот уж чего не сумею вам сказать. Чтоб довезти их, я дал порядочный крюк, опоздал с развозкой молока. Пришлось стегнуть Улисса и помчаться галопом без оглядки.

Попробовав предложить Этьену вознаграждение, от которого тот отказался, Кожоль пустился в путь, к улице Мон Блан.

Отыскав дом № 20, он внимательно осмотрел его.

VI

Ивон не умер.

В отчаянной неравной борьбе, он получил жестокий удар в голову, от которого, как подкошенный, упал на мостовую, где враги и оставили его, посчитав мертвым.

Он дышал, но был в беспамятстве, когда его поднял незнакомец, друг или недруг, по следам которого граф Кожоль дошел до улицы Мон Блан.

Если ранения в голову сразу не убивают человека, то выздоровление наступает быстро.

После глубокого обморока Ивон пришел наконец в чувство. Сколько он пробыл в забытьи, Бералек не смог понять. Сначала мысль смутно шевелилась в его отяжелевшей голове, но мало-помалу сознание возвратилось к нему, а с ним и память прояснилась.

Поручение, данное аббатом Монтескью, бал в Люксембурге, партия с Баррасом, и, наконец, женщина... один вид которой обратил его в бегство; эта женщина, которая публично выставляла свое бесчестие... она, которую он знал такой скромной и целомудренной! Да, он был уверен, эта женщина – Елена, его обожаемая невеста, воспоминание о которой навсегда сохранилось в глубине его сердца, несмотря на все усилия изгнать его. Да, эта женщина, на которую он когда-то смотрел не иначе, как на святую, теперь... на нее указывали пальцем, говоря: вот любовница Барраса!.. развратного Барраса, всю жизнь вращавшегося в кругу доступных женщин, человека, пресыщенного удовольствиями, которого она, однако, сумела обуздать, благодаря, конечно, своей крайней испорченности.

Крупные слезы катились по исхудальным щекам раненого при мысли о том, что сделалось с кумиром его юности!

Потом больной вспомнил о неожиданном нападении, когда обступившие враги подло бросились на него без всякого предупреждения по одному лишь данному сигналу. Он вспомнил, что двумя выстрелами убил одного из нападающих и смертельно ранил другого. В его памяти оживали малейшие подробности этого ожесточенного боя, боя не на жизнь, а на смерть, до той минуты, когда удар дубиной по голове ошеломил его.

– Где я? – спросил он себя, увидев, что лежит не на мостовой, обливаясь кровью, а в мягкой постели, с головой, обвязанной бинтами.

Истощенный потерей крови и разбитый горем, бедный кавалер не мог шевельнуть ни одним мускулом. Положение головы на подушке не позволяло ему как следует осмотреться.

Комната, в которой он лежал, была так велика, что вся мебель терялась в пустоте. Мрачная, с высоким, плохо оштукатуренным потолком, она сохраняла запах, свойственный всем необитаемым жилищам. Прямо перед ним были два больших окна, в которые глядили на него звезды.

«Теперь ночь, – подумал он. – На меня напали почти на рассвете. Судя по всему, я пролежал в беспамятстве по крайней мере сутки, и конечно, я теперь в доме какого-нибудь сострадательного обитателя улицы Сены».

Слабый свет ночника, стоявшего где-то рядом с постелью Ивона, выхватывал из темноты то один, то другой предмет. Кровать, обращенная изголовьем к стене, занимала середину комнаты и делила ее таким образом на две равные половины.

Любопытство подстрекало Бералека оглядеть другую половину, со стороны которой исходил свет, но голова его не выдержала преждевременных усилий, и он опустил ее в изнеможении на подушку.

– О, – прошептал он, – долго не вернется ко мне та сила, которую я выказывал еще в детских играх, катая в тележке моего веселого Кожоля. Что-то он поделывает, дорогой Собачий Нос? Наверно, ищет меня.

Ивон вдруг прервал свои размышления.

Он прислушивался.

До него долетел удививший его звук тихого, мерного дыхания.

«Кто-то ухаживает за мной ночью!...» – подумал он.

Он простонал несколько раз, чтобы привлечь внимание человека, которого он не мог видеть.

Никто не шевельнулся, и дыхание осталось таким же мерным, как и прежде.

– Непременно надо узнать, кто это дышит так близко от меня, – прошептал он.

С тяжелыми усилиями, от которых в голове его застучали молотки, Ивону медленно-медленно удалось обернуться.

Он едва сдержал крик удивления.

При свете ночника, стоявшего на столике, он увидел прелестную женщину, сидевшую на низком кресле у его изголовья.

Она уснула, опервшись рукой на край постели, но во время сна тело ее склонялось малопомалу и голова скатилась на руку.

Эта прелестная головка находилась теперь так близко от Ивона, что ему не стоило бы ни малейшего движения, чтобы запечатлеть поцелуй на этом личике, которое, казалось, подставляло лоб губам молодого человека.

Да, то была действительно прелестная головка! Ее роскошные черные волосы, разметавшиеся во время сна, густыми прядями рассыпались по плечам, обнажив ослепительной белизны шею. Длинные шелковистые ресницы бросали прозрачную тень на щеки. Легкое дыхание, открывшее Ивону присутствие незнакомки, вырывалось из маленького полуоткрытого ротика, в котором поблескивали ровные белые зубки. В этом очаровательном созданье сливалась девическая свежесть и грация женщины.

– Как она хороша! – прошептал кавалер в восторге.

Глядя на нее, заснувшую на краю его постели, он вдруг подумал: «Неужели вместо двадцати четырех часов, проведенных, по моему расчету, в беспамятстве, я болен так давно, что эта молодая женщина успела утомиться после нескольких бессонных ночей и уснула у постели, которую мне уступила... потому что я, должно быть, в ее постели?»

Ивон обвел глазами вторую половину комнаты, которую забыл осмотреть. Он увидел тяжелую дубовую мебель, но его глаз не уловил ни одной из тех бесчисленных безделушек, которые обыкновенно служат доказательством, что здесь живет женщина.

– Нет, – сказал он себе, – это не ее жилище. Меня уложили в комнате, которая, кажется, уже давно необитаема.

Из чувства благодарности, конечно, но отчасти и из эгоистичного желания разбудить свою сиделку, кавалер протянул губы к маленькой ручке, на которой покоялась голова девушки, и поцеловал тонкие розовые пальчики.

Но хорошенъкая соня не очнулась.

«Утомление берет свое», – подумал Ивон.

И с большей смелостью кавалер потянулся ко лбу, склоненному к нему. Одной благодарностью нельзя было бы объяснить этого второго, немножко затянувшегося поцелуя молодого человека.

Спящая не сделала ни малейшего движения, и звук ее дыхания оставался по-прежнему ровен.

Ивон, без сомнения, входил во вкус своего положения, потому что он уже собирался продолжить свои поцелуи, как вдруг остановился.

Странный шум, который он сначала принял за уличный, поразил его ухо.

С разных концов дома слышались какие-то неясные звуки: то как будто многочисленные приглушенные шаги, то едва слышный шепот. Глухие удары топора, как будто кто-то пытался скрыть свою таинственную работу, повторялись то там, то здесь. Неопределенный шум, разли-

чимый только в тишине ночи, временами долетал из коридоров и с лестниц. По легкому шороху у самой двери Ивон догадывался, что это крадущиеся шаги скользили мимо его комнаты.

«Это странно, — подумал он, — дом как будто полон людьми. Что они могут делать здесь ночью?»

Неизвестно по какому наитию, Ивон заподозрил, что весь этот таинственный шум наверняка скрывает опасность для этой женщины, и решился непременно разбудить ее.

Он приподнял голову прелестной сиделки. Девушка издала один из тех тихих стонов, какие дети издают в глубоком сне, и, когда, усадив ее в кресле, Ивон отнял руки, голова ее вновь тяжело упала на постель.

Подобный толчок мог бы пробудить от самого крепкого сновидения, а незнакомка между тем не очнулась. «Странно!» — думал удивленный Ивон. Он решился на еще одну попытку. Но молодой человек плохо рассчитал свои силы. Не успел он протянуть руку, как почувствовал слабость, головокружение и шум в ушах. Спустя мгновение он потерял сознание.

Когда Бералек пришел в себя, был уже день. Его первая мысль была о прекрасной незнакомке. Он поднял голову, но на том месте, где ему явилось ночью такое чудное видение, он обнаружил какого-то грузного верзилу, рассматривавшего его с бессмысленным выражением лица.

— Где я? — спросил Ивон, скрывая свое удивление.

Верзила разразился грубым, зверским хохотом.

— А! — сказал он. — Ты неиспорченный гражданин.

— Где я? — повторил Ивон.

— У моей госпожи, парфюмерной торговки.

— Так это перед ее лавочкой на меня напали? Я полагаю, все жители Сены должны были слышать борьбу.

Верзила вытаращил удивленные глаза и опять затрясся от смеха.

— Да где, чертовщина, увидал ты улицу Сены, гражданин? Ты на улице Мон Блан.

— А! — пробормотал Ивон, не считавший нужным давать дальнейшие объяснения.

— Это я пять дней тому назад, открывая лавочку, нашел тебя перед дверьми дома.

— Благодарствую, дружок.

— О, что касается меня, — возразил великан равнодушно, — я бы тебя оставил на твоем месте до светопреставления, но госпожа велела тебя перенести в эту комнату, где сама за тобой ходила.

— А как зовут твою госпожу?

— Гражданка Сюрко.

— Какая-нибудь пожилая дама, без сомнения? — добавил Бералек, который, по какому-то необъяснимому побуждению не хотел говорить о событиях ночи.

— Она — пожилая! — загоготал гигант. — Ей всего-то двадцать лет, и она первая красавица в квартале.

— Ты говоришь, что она велела перенести меня в эту комнату?

— Да, в комнату гражданина Сюрко.

— А, так это муж ее уступил мне свою постель? — возразил раненый, которому не понравилась эта новость.

— О, это нисколько не стеснило гражданина Сюрко!

— Почему?

— Потому что гражданка Сюрко уже три года как вдова.

— Ах, бедняга Сюрко! — вскричал Ивон огорченно, в то время как совсем иное чувство говорило в нем.

— Да, умер, положительно умер... Я сам свалил его в большую яму, — сказал верзила, который, при воспоминании об этом грустном событии опять засился хохотом.

«Экая скотина!» – подумал Бералек.

– Да, три года прошло с тех пор, как гражданка Сюрко овдовела. А эта комната стояла с тех пор пустая, – прибавил великан, когда у него прошел этот странный порыв веселости.

– Так мое пребывание здесь не обеспокоило твою госпожу?

– О, в этом доме, слава богу, не занимать комнат! Подумай-ка, гражданин: три громадных этажа! Кухарка не спит здесь, и остаемся во всем большущем доме мы вдвоем: госпожа да я.

– А! – удивился Ивон.

В уме молодого человека опять ожило воспоминание о шуме, слышанном ночью.

Глуповатый слуга, стоявший у постели кавалера, когда тот очнулся, не лгал, говоря, что хорошенъкое создание, склонившееся ночью над его изголовьем, была гражданка Сюрко, содержательница косметического магазина на улице Мон Блан.

Госпожа Сюрко – одна из главных действующих лиц нашего рассказа, поэтому мы должны познакомить читателя с ее прошлым и объяснить, каким образом хорошенъкая хозяйка жила одна со своим слугой в этом просторном, пустом доме, где Ивон, однако, слышал ночью странные звуки.

Для этого обратимся к событиям трехлетней давности, к тому времени когда хозяин магазина однажды вечером отдал Богу душу за стаканом вина.

Начнем с Флореяля⁹ III года Республики, то есть с тех немногих месяцев, которые после Террора предшествовали учреждению Директории. В это самое время смерть внезапно похитила достойного и многоуважаемого владельца магазина Муциуса Сюрко. Он отошел в лучший мир, оставив вдову, прелестную, свеженькую брюнетку семнадцати лет, продолжавшую с тех пор его торговлю. Много ли и сильно ли горевала вдова Сюрко о потере супруга? Мы не смеем этого положительно утверждать. Ее отчаяние не было ни слишком долгим, ни слишком глубоким. Вернее можно сказать, что она была удивлена внезапной смертью человека, который не имел даже времени произнести свое «аминь», потому что Сюрко, по словам докторов, умер от апоплексического удара.

Госпожа Лоретта Сюрко, поверьте, не была образцом бесчувственности: громадная разница лет между супружами (владельцу магазина было пятьдесят два) достаточно объясняет покорность, с которой Лоретта приняла свое вдовство.

Заслуживал ли покойный Сюрко сожаления вдовы, даже если не принимать во внимание его лета? Судите сами. Он был скончан, жесток, неряшлив, скрытен в разговорах и поступках и вдобавок нелюдимый брюзга!.. Такой брюзга, что никто не мог припомнить, чтоб он смеялся, кроме одного случая, именно – в день смерти.

– Он был всегда так мрачен, что первая попытка смеяться стоила ему жизни, – говорил галунщик Брикет, сосед по лавочке, присутствовавший при последних минутах Сюрко.

Лоретта была не просто красива, она была восхитительна! Даже самый отъявленный санкюлот не мог бы остаться равнодушен при виде этих больших черных глаз, когда они смеялись, а прелестный ротик открывал два ряда жемчужин. Маленькая, грациозная, миловидная, с утонченной формы ногами и руками. Мы уже говорили об ее роскошных волосах, которые едва скрывались под чепцом с трехцветными лентами и кокардой; подобный чепец был тогда в большом употреблении.

Каким образом такая милая девушка стала добычей подлого старишки Сюрко? Это тайна, которую мы постараемся раскрыть после.

В одно прекрасное утро, за десять месяцев до своей смерти и за несколько дней до падения Робеспьера, парфюмер вышел из дома и вернулся два часа спустя уже с Лореттой, которую представил соседям под именем гражданки Сюрко. В это время революций, когда всякий

⁹ Флореаль (20 апреля – 19 мая) – восьмой месяц республиканского календаря, действовавшего с октября 1793-го по 1 января 1806 года.

мог разводиться и снова жениться в один и тот же день, ежедневно совершались самые удивительные браки. Поэтому соседи мало беспокоились о новой молодой, которую муж на другой же день поместил за прилавком своего магазина, куда красота ее скоро привлекла толпу франтов-покупателей.

Медовый месяц продолжался для обоих супругов недолго. На третий день парфюмер перебрался из супружеского гнездышка во второй этаж, в котором он занимал помещение до женитьбы и где хранил все свои книги, бумаги и деловые счета. Никогда нога его больше не переступала порога комнаты Лоретты, которая вовсе не жаловалась, а напротив, с радостью принимала свое одиночество.

Дом, принадлежавший Сюрко, состоял, вместе с подвальным, из трех этажей и ряда мансард. Парфюмер, во избежание страшной ответственности, грозившей всем подозреваемым в укрывательстве сомнительных лиц, принял благоразумное решение не пускать к себе жильцов.

В первые недели этого грустного, неравного брака жизнь вдвоем с глазу на глаз ожидала супругов, которые одни занимали это обширное помещение. При этом мы не считаем «официантку», как называли в то время служанок, приходивших убирать комнату и готовить обед.

В косметическом магазине был когда-то приказчик, молодой ветреник, который в один прекрасный день был казнен на площади Революции за несколько слов, сказанных против Республики за бутылкой вина.

Сюрко долго обходился без приказчика, но за месяц до своей смерти взял другого, который, ища места, сам представился ему.

Лебик, так звали нового служащего, отличался гигантским ростом и руками, толстыми почти как баранья лопатка, и мог легко размозжить голову смельчаку, который вздумал бы раздражить его.

В тот день, когда он представился Сюрко и торговался с ним о жалованье, три пьяных санкюлота ворвались в магазин и требовали с упорством настоящих пьяниц, воображающих себя в кабаке, чтоб им тотчас же подано было вино. Не говоря ни слова, Лебик схватил за ворот стоявшего поближе, поднял его высоко над землей и, вертя как дубинку, поколотил им двух остальных. В это время, когда личная безопасность ничем не была обеспечена, подобный пример силы соблазнил Сюрко. Торговец пришел в восторг от такого защитника и оставил его у себя на выгодных условиях.

Во всех других отношениях едва ли во всем свете нашелся более неспособный приказчик, чем Лебик, тупость которого далеко превышала его силу. Он выслушивал приказания с глупо открытым ртом и блуждающими глазами, ровно ничего не понимая. Если он разговаривал, то для того чтоб брякнуть страшную нелепость, и, чаще всего, разражался хохотом идиота – хохотом, от которого дрожали стекла.

В его громадных пальцах флаконы для духов обращались в осколки, горшочки с помадой сдавливались, а мыло расплющивалось в лепешку. Никогда еще такое полное бессмыслие не обитало в подобном теле Геркулеса. Невозможно было добиться от него ни слова о его родине или о прошлом. На глаз вы дали бы ему лет тридцать. Видя в Лебике такую беспримерную глупость, Сюрко, ценивший в нем одну силу, сделал из него вместо приказчика магазинного слугу, то есть употреблял его для наблюдения за чистотой в лавке, обтирания пыли с contadorки, перенесения тяжестей и для грубых работ в своей лаборатории, в которой он занимался созданием предметов своей торговли. Верзила Лебик исполнял разнообразные обязанности кое-как, потому что на свете были только две вещи, которые он делал хорошо: это еда и сон.

Ночью по всему дому раздавался его храп, более густой чем жужжение целого улья. Обедая и ужиная в кухне с официанткой, он пугал ее своей необыкновенной способностью поглощать съестное в громадных количествах, которые, однако, не вполне удовлетворяли его, потому что он еще, украдкой от хозяйствского глаза, пожирал целые пакеты миндального теста, приготовленного для мыла.

Остается теперь сказать несколько слов о прежней жизни покойного Сюрко. Рожденный в холопстве, он был лакеем с самых ранних лет своей жизни. Переходя от одного господина к другому, он между прочим находился в услужении у благородного провинциального семейства, когда разразилась революция. Это семейство – отец, мать и двое детей, сын двадцати двух и дочь тринадцати лет, – это семейство исчезло в революционном вихре, потеряв своего главу на эшафоте.

Оставшись без места, Сюрко обратился в отчаянного санкюлота. Сначала он принимал участие во всех актах кровавой трагедии, но в 1793 году, запасшись неизвестно откуда взявшимися деньгами, вдруг отбросил все ухватки бешеного якобинца и устроился на улице Мон Блан парфюмером.

Под гнетом Террора, когда всякий дрожал за жизнь и имущество, Сюрко спокойно продолжал свое ремесло, ни разу никем не потревоженный. Втихомолку поговаривали, что он был одним из тайных поставщиков революционного судилища. Надо полагать, что в этой молве была доля правды, потому что Сюрко, вполне безмятежный во время Террора, вдруг стал боязливым и мрачным с падением Робеспьера. После десяти месяцев ежедневного страха, которого он не мог вполне скрыть, парфюмер казался веселым и крайне беззаботным только один день, и этот день – странная вещь! – оказался днем его смерти.

Предоставляем читателю судить, как грустна была жизнь Лоретты в эти немногие месяцы ее замужества. Правда, что Сюрко, отлучавшийся всегда из дома для каких-то темных дел, виделся с женой только за столом. В молчании проходило время свидания между этими двумя людьми, которых соединила какая-то тайна и которые, казалось, боялись и ненавидели друг друга.

Когда апоплексический удар поразил ее мужа, госпожа Сюрко послала за докторами, оказывала сама необходимую помощь и делала все, чего требовало от нее человеколюбие. Но когда было ясно доказано, что муж ее простился с земной жизнью, она без сожалений похоронила его по требованиям тогдашнего времени.

Слишком честная, чтобы выказывать горесть, которой не чувствовала, молодая женщина на другой же день появилась в kontоре. Как жертва, долго находившаяся под гнетом, она, казалось, возродилась для счастья и радости.

Верзила Лебик при известии о смерти хозяина разразился одним из своих оглушительных взрывов идиотского хохота и прокричал громовым голосом:

– Ух! В большую яму!!!

На другой день в голове его, по-видимому, не осталось ни малейшего воспоминания о покойном патроне. Жалость не расстроила его пищеварения, потому что его аппетит не уменьшился ни на йоту.

Когда таким образом жизнь, казалось, улынулась прекрасной Лоретте, ставшей опять свободной, ее покой вдруг был возмущен. Ей стало страшно в этом большом пустом доме, где ночью у нее был только один покровитель – слуга, живший тремя этажами выше, в одной из мансард. Страх породил в ней галлюцинации, и ей чудилось, что необитаемое здание оживало с наступлением ночи. Ей слышались глухие, тяжелые шаги и треск старой мебели, которую как будто осторожно передвигали.

У самых трусливых людей являются минуты храбрости, так же и Лоретта однажды ночью встала с постели, где страх не давал ей спать, и, накинув пеньюар, поднялась в верхний этаж, в спальню своего покойного мужа, откуда долетал неясный шум.

Входя в эту комнату, необитаемую недели две, Лоретта почувствовала удушливый запах гарни, который распространяет только что погасший фитиль.

Комната была пуста.

«Можно подумать, что, заслышав мой приход, кто-то поспешил задуть свечу», – смекнула молодая женщина. Она подошла к камину, на котором стояли подсвечники с огарками,

служившие еще покойному. Она дотронулась до фитиля одной из них своими нежными пальчиками.

Ей показалось, что он был еще горяч.

Лоретту смертельно испугало это прикосновение, и первое возбуждение, поддерживавшее ее, вдруг оставило бедняжку, и она, подавленная ужасом, бросилась к мансарде, где спал Лебик.

Громкое храпение дюжего детины прервалось от стука в дверь маленьких похолодевших ручек молодой женщины, обезумевшей от страха.

VII

На отчаянный зов своей госпожи Лебик поспешил вскочил с кровати и выбежал из своей коморки. С фонарем в руке и поддерживая Лоретту, цеплявшуюся в припадке страха за шею своего единственного защитника, гигант обыскал без всякого успеха все закоулки дома, безмолвного и пустынного.

Наконец он отвел госпожу Сюрко назад в ее спальню.

— И-и, полно, хозяйка, — промямлил он. — Тебе привиделись небылицы. Успокойся и спи себе на здоровье, а я лягу в коридоре, у твоей двери.

Ложась в постель, вдова, вполне успокоенная, смеялась над своим страхом, рассуждая так: «Лебик прав. Испуг отнял у меня рассудок — и вот мне показалось, что запал свечи был горяч, а ее не зажигали многие недели».

И Лоретта, чувствуя теперь полный упадок сил после невероятного нервного возбуждения, провалилась в глубокий сон.

После этого события госпожа Сюрко не могла обходиться без Лебика. Идиот вместо ума обладал инстинктом ручного медведя, привязанного к хозяину, который кормит его. Он, казалось, был предан своей госпоже и служил ей по-своему: неловко и грубо. Оставив свою мансарду, спал теперь каждую ночь на полу в коридоре перед дверью хозяйки.

Под покровительством гиганта Лоретта наслаждалась безмятежными сновиденьями. Нужно сказать даже, что она спала уж чересчур много!.. Случалось, два или три раза в месяц она вдругчувствовала какое-то странное оцепенение, за которым следовал тягостный сон, длившийся до самого утра.

Думая об этих внезапных приступах, хорошенъкая вдовушка говорила себе: «Скука замедляет бег моей крови и скоро обратит меня в сурка».

И в самом деле, госпожа Сюрко, отвергнувшая искаания многих обожателей, мало-помалу привыкала к этой однообразной жизни.

Случались, однако, с ней странные неожиданности, над которыми, впрочем, она потом стала смеяться.

Лоретта время от времени заглядывала в комнаты, опустевшие после смерти Сюрко, в сопровождении своей служанки, которая обметала и проветривала их. Ключ от этих помещений хранился у самой хозяйки. Но она стала замечать, что тот или другой предмет, который, казалось ей, стоял на одном месте, вдруг оказывался на другом.

Вдова парфюмера чувствовала, что часто бывала рассеянна, и потому говорила себе, особенно при воспоминании о памятной ночи ее испуга:

— Если бы только у меня память не была так коротка... и если б я была суеверна... я бы подумала, что покойный Сюрко возвращается сюда ночью!...

* * *

Была ли права Лоретта?

Умер ли Сюрко?

Умер ли? Да. Он умер так же верно, как и всякий другой человек, тело которого подвергалось в продолжение часа осмотру и исследованию двух докторов, которые наконец объявили, что наука тут уже бессильна!

Он умер, и тело его, положенное в гроб, окоченело, посинело и похолодело, как камень.

Он был похоронен. И если предположить, что даже заживо, то гробовая крышка, давившая его под землей, должна была задушить его в эти двенадцать дней.

Предоставляем судить об этом самому читателю из нашего рассказа о том, как покойный провел свой последний день среди живых.

6 мая 1795 года или лучше, говоря языком того времени, 17 флореала, III года Республики, парфюмер проснулся, бледный и встревоженный. Все утро слонялся он в волнении туда-сюда, без всякой видимой цели и с нетерпением человека, время которого тянется мучительно долго!

В девять часов он накинул свою карманьолку и, нахлобучив меховую шапку, в костюме якобинцев, хотя уже не посещал их клуба, вышел тревожными шагами по направлению к Сене.

Дорогой неотвязчивая мысль сверлила его мозг, так что он машинально задавал себе вслух один и тот же вопрос:

– А если он признается, чтобы выкупить свою жизнь?

Проходя по набережной Межессери до Меняльного моста, он с трудом протискивался сквозь плотные толпы народа, которые чем дальше, тем становились все гуще и гуще.

Достигнув противоположного конца моста, Сюрко обернулся.

Отсюда ему видна была вся Гревская площадь со страшными позорными столбами гильотины. При виде грозной машины парфюмер прошептал:

– А! Это, конечно, для сегодняшнего дня!

Мрачный и бледный, он протискивался сквозь толпу, стараясь добраться до Палаты правосудия. С большими усилиями достиг он великолепной решетки, огибавшей улицу Барильери, и, по примеру многих других, выломав прут, взмостился на ограде. С этой высоты он наблюдал за правым углом Палаты, где виднелся въезд с узорными воротами под низкими сводами, который назывался «воротами Консьержери». При виде трех двухколесок, стоявших перед воротами, Сюрко повторил свою фразу:

– О, это, конечно, на сегодня!

Задыхаясь от тайного ужаса, он ждал, уцепившись за железную решетку.

Набережная Пеллетье, мосты Нотр Дам и Меняльный и улица Барильери сплошь были запруженены народом, этим человеческим приливом, поднявшимся, наводнив сначала обширный двор Палаты правосудия, до последних ступеней подъезда, возвышающегося под стенным часами. Во всех окнах и на крышах мелькали миллионы голов, жаждавших обещанного зрелища.

Время от времени гул толпы вдруг смолкал и после короткой паузы тысячи голосовсливались в один крик ярости и ненависти:

– Смерть Фукье-Тенвилю!

Правосудие вступало в свои права: те, кто растерзал столько невинных жертв, теперь в свою очередь получал возмездие по делам своим.

В продолжение девятнадцати дней народ теснился у Палаты, нетерпеливо ожидая приговора экзекутору Фукье-Тенвиля и членам прежнего революционного судилища, дававших отчет во всем содеянном.

Была минута, когда Фукье-Тенвиль с сообщниками надеялись уйти безнаказанными. Восемь месяцев прошло с тех пор, как их товарищи Коффиналь и Дюме последовали на эшафот за Робеспьером. Жозефа Лебона, палача Арраса, настигло возмездие. Баррор и Колло д'Эрбуа отправлены в ссылку. Жестокий, как зверь, Каррье, этот кровопийца нантских жителей, казнен на Гревской площади со своими аколитами, Гранмезоном и Пинаром.

В начале сентября прошедшего года Фукье-Тенвиль и его сообщники, заключенные в крепость, считали уже себя забытыми, когда спустя шесть месяцев вышел приказ перевести их в Консьержери и началось над ними следствие.

Не станем описывать этого процесса, разоблачившего кровавые беззакония их страшного революционного судилища, которое в несколько месяцев беспощадно произнесло 4000 смертных приговоров, из них 1200 – женщинам. Приведем на удачу несколько фактов, кото-

рые покажут, как Фуке-Тенвиль и его ставленники, судья и присяжные, произносили приговор обвиненным.

На очереди было дело графа Гамаша. По какому-то роковому недоразумению в суд призвали однофамильца графа, слесаря Гамаша. На открытии заседания секретарь предупредил Фуке об ошибке. «Ба? – отвечал тот, – так не напрасно же мы беспокоили слесаря. Два Гамаша под гильотиной вместо одного это – прибыль».

То же случилось с торговкой Малльет: «Ей-богу! – вскричал Тенвиль. – Я очень дорожу своим счетом и из-за какой-нибудь буквы „т“ не стану его путать. Пусть торговка сегодня положит свою голову под гильотину вместо графини, а эта завтра отплатит ей за услугу».

К нему привели сумасшедшего, и он подписал ему смертную казнь, говоря: «Если это сумасшедший, то он не бог знает что теряет в своей голове».

Однажды, когда члены суда замешкались в буфете Палаты, Фуке отдал им следующий приказ: «Мы опоздали, надо теперь стрелять беглым огнем». И в час с четвертью допросили и приговорили к смерти сорока двух осужденных.

В другой раз, приехав утром на заседание, чудовище увидел двухколески, стоявшие у ворот тюрьмы. «Девять тележек! – вскричал он. – Сколько же у нас сегодня осужденных?» (Для него слова «обвиненный» и «осужденный» были однозначны.)

– Около сорока, – ответил секретарь.
– В таком случае две тележки лишние.
– Я их отошлю обратно.

– Нет, не стоит! Но чтоб они не напрасно проехались, беги скорей в тюрьму и приведи сюда двенадцать первых встречных из этой кучи заключенных. Они совершают с другими это великое путешествие, а мы таким образом пополним гарнизон.

Члены судилища так хорошо «стрелявшие беглым огнем» нисколько не уступали в жестокости кровожадному общественному обвинителю. Один из них, Реноден, предложил пускать перед казнью кровь осужденным, находя, что жертвы слишком бодро встречали смерть. Шателен забавлялся в судилище рисованием карикатур обвиненных, «для препровождения времени», говорил он, потому что эти люди наскучили ему. Леруа Монталамбер, храпевший на заседаниях, пробуждался только для того, чтобы выговорить, зевая: «А, похоже, однако, нескоро еще покончим со всеми этими несносными болтунами? Пусть их осудят как усыпителей». Присяжный Виллат, бывший монах, потеряв терпение при допросе пятидесяти семи обвиненных, кричал президенту: «Довольно с нас! На казнь их! Что касается меня, то я объявляю их всех виновными в двойном преступлении: в заговоре против Республики и в заговоре в настоящее время против моего желудка, потому что вот уже добрых полчаса как я должен был бы обедать». Приер, гордый изобретением выражения «плевать в сумку, в которой хранятся решения суда», предлагал воздвигнуть гильотину в самом помещении судилища для избежания лишней траты времени. Судья Дюпомье особенно отличался «стрелянием беглым огнем». Когда он занимал должность вице-президента, то вместо всякого допроса довольствовался справкой об имени обвиненного.

Мы не намерены поднимать здесь всю судебную хронику этих палачей, отправивших, как мы сказали, на тот свет 4000 несчастных, осужденных по одному обвинению: жертвы эти никогда не слыхали, в чем была их вина, не имели права отвечать ничего, кроме «да» и «нет», и, если намеревались открыть рот в свою защиту, Фуке кричал им: «Слово не за тобой!»

Зловещая быстрота, с которой решались все дела в революционном судилище, понятна из следующих строк о том времени:

«Заседание суда открывалось обычно около половины одиннадцатого утра... Сначала секретарь прочитывал обвинительный акт, к которому Фуке-Тенвиль делал должные, по его мнению, дополнения, затем у каждого из шестидесяти или семидесяти осужденных спрашивали об его

имени, фамилии, летах, месте жительства и т. п. Это продолжалось около двух часов. Время было дорого. Телеги, заказанные всегда накануне вечером, ожидали своего груза с девяти часов утра на дворе Палаты. Вошло в обычай отправлять их ровно в четыре часа, и осужденным обыкновенно оказывалась милость: полчаса, чтобы оправдаться между оглашением приговора и приходом палача, которому так же оставалось полчаса на погребальный туалет. Рассчитайте теперь – и вы увидите, что даже когда трибунал и не задерживался в буфете Палаты, едва ли шестидесяти-семидесяти обвиненным оставалась хоть минута на объяснения и защиту в предполагаемых преступлениях, о которых они узнавали совершенно неожиданно. Да вдобавок президент отнимал у них право слова после ответа „да“ или „нет“ на его вопросы».

Вот каковы были те, которых теперь, несомненно, ожидала смертная казнь, потому что еще до произнесения приговора для них заранее был воздвигнут эшафот на Гревской площади и тележки палача уже красовались у ворот.

Между этими людьми, надо полагать, был человек, смерти которого Сюрко сильно желал и в то же время боялся его объяснений.

Наконец весть о приговоре облетела всю толпу, начиная с теснившихся на лестнице. Из тридцати четырех обвиненных смертный приговор поражал шестнадцать.

Узнав это, парфюмер побледнел еще больше и прошептал:

– Нет ли его в числе шестнадцати?

После часа ожидания, мучительного для Сюрко, в толпе раздался нетерпеливый крик:

– Вот они! Вот они!

Осужденные, выходя из ворот Консьержери, один за другим влезали в тележки.

Невозможно передать боязливого трепета, с которым парфюмер считал этих несчастных, пока они устраивались в повозках.

«Двенадцать! Это еще не он... тринадцать! Нет еще... четырнадцать! Нет... Только два осталось! Не более двух! Мог ли он ускользнуть от приговора?» – говорил про себя Сюрко, и лицо его искажалось от ужасного волнения.

Голова предпоследнего показалась над толпой. При взгляде на нее хриплый крик радости вырвался из растерзанной груди парфюмера.

– Это он! – вскричал Сюрко.

Потом он двинулся за толпой в намерении следовать за телегами, которые тронулись, как только последний из осужденных, Фукье-Тенвиль, занял свое место.

Сюрко нужны были вся его сила и энергия, чтобы в этом громадном скоплении народа, с помощью плеч и локтей, не отставать от погребального шествия, двигавшегося чрезвычайно медленно.

Впереди повозок ехали четыре жандарма в ряд, с трудом сдерживая толпу. Народ вновь приливал к экипажам и с ругательствами обращался к осужденным, упрекая их кто в смерти матери, кто – отца, или жены, сына, друга, которые погибли по приговору революционного судилища. Ненависть толпы особенно яростно и грозно обрушилась на бывшего общественного обвинителя, ехавшего в последней тележке, плохо защищенной солдатами конвоя. Те напрасно истощали свои силы, пытаясь на лошадях преодолеть людскую волну, отделившую их от ехавших впереди стражников на выходе со двора Палаты.

Поддерживая своего соседа Виллата, обессиленного от страха, Фукье-Тенвиль, по-прежнему дерзко, насмешливо смотрел, не произнося ни слова, на все эти угрожающие лица, которые ревели ему: «Слово не за тобой!».

Наконец терпение скованного тигра кончилось, он вдруг, выпрямившись во весь рост, плюнул в народ и крикнул ему громовым голосом:

– А у вас, канальи, нет хлеба! Я же ухожу с набитым желудком.

Оскорбление было ужасным.

Эшафот, темницы и рекрутские наборы опустошили деревни и принесли в страну голод. Нужно было караулить открытие булочной целую ночь напролет, чтобы получить несколько унций черного клейкого теста, называвшегося тогда хлебом. За фунт чистой муки, которую удавалось достать тайком и с большими опасностями, платили или 48 ливров золотом, или 2600 ливров ассигнациями. Всякое приглашение на обед сопровождалось словами: «Принесите свой хлеб».

Меткое оскорбление, брошенное осужденным, вырвало бешеный крик из уст толпы, бросившейся на телегу с намерением разорвать виновного на части. Несмотря на сопротивление жандармов, которым удалось наконец добраться до повозок, Фукье был бы схвачен, если бы толпа вдруг не была остановлена.

Странная процессия, направляясь от улицы Планш Мибрей к мосту Нотр Дам, вдруг преградила путь осужденным и разделила на две части народ, который, успокоенный видом этого зрелища, запел Марсельезу.

То была Процессия Селитры с огромным ящиком и шестью кларнетами во главе, шедшая с приношениями в соседнюю Секцию.

Необходимо дать читателю несколько пояснений.

В то время, из-за большой редкости селитры, страна сильно нуждалась в порохе. По предложению химиков Морво и Фуркура Коммуна приказала скоблить стены кладбищ, церковных подземелий и погребов. «Комиссары селитры» имели право вербовать для этой работы всякого встречного и отворять чужие погреба. Поэтому выгодно было заручиться благорасположением комиссара, который выбирал для работы своих товарищей самые богатые погреба, хозяева которых лишились разом и селитры, и вина, пока сами должны были трудиться на каком-нибудь старом кладбище.

На эту патриотическую работу поочередно отправлялись взводы с заступами на спине и барабанщиком во главе. Вся набранная селитра перерабатывалась лаборантами в тесто, которому придавали форму конических хлебов. Украшенные трехцветными лентами, с верхушкой в красной шапочке и положенные на носилки, эти селитрянные хлебы, с оглушительной музыкой, в сопровождении работников, горланивших Марсельезу, относились в Секцию.

Постановление Коммуны приказывало уступать дорогу селитряным процессиям, и вот почему проходившая сейчас колонна, остановив шествие осужденных, длила агонию этих несчастных.

Для Сюрко эта остановка казалась вечностью.

Видя, что телеги тронулись, он вздохнул с облегчением.

– Наконец! – прошептал он.

И двинулся за толпой.

Пугающий концерт процессии, успокоив ярость толпы, вдохновил людей на пение. Вместо угрожающих криков экипажи теперь провожал иной хор: «Тебе воздадут по делам твоим», – этим припевом песенки из оперы-фарса «Бедное семейство», производившей большой фурор в театре Фейдо.

Наконец телеги приехали на место, потратив сорок минут на путь, который пешеход, не сдерживаемый толпой, прошел бы в пять минут.

Парфюмер остановился на углу набережной. Не отводя взгляда от площади, он стоял неподвижно, бледный, обливаясь потом.

Палачи втащили на руках первого осужденного. Это был экс-монах Виллат, почти уже мертвый от страха.

При виде его Сюрко невольно судорожно подпрыгнул.

Когда голова преступника скатилась с эшафота, парфюмер, казалось, начал ослабевать, как будто его нервы, долго находившиеся в напряжении, расстроились, и вдруг разразился грубым судорожным хохотом, а лицо его озарилось неизъяснимой радостью.

Его хохот заставил обернуться молодого человека, стоявшего перед ним. Видя его мрачную веселость при зрелище отрубленной головы, тот сказал бледному парфюмеру:

– По всему, этот человек был причиной гибели одного из дорогих вам существ?

Какая-то неведомая радость, душившая Сюрко, должно быть, отняла у него рассудок, потому что он, не подумав, ответил:

– Нет, это был мой закадычный друг.

Не говоря ни слова и не выражая ни малейшего удивления, молодой человек пристально взглянул на Сюрко. Потом, воспользовавшись движением толпы, он отошел шагов на десять назад и опять, пробравшись вперед, остановился за парфюмером, который ничего не заметил.

В эту минуту Сюрко увидел в нескольких шагах от себя своего соседа по лавочке, Брикета.

– Вот как, гражданин Сюрко! И ты здесь? – крикнул тот.

– Да, гражданин Брикет.

– Так пойдем назад вместе, так, что ли?

– С удовольствием.

При имени «Сюрко», молодой человек вздрогнул.

Вынув из кармана кусок жирного мела, он начертил на спинке коричневой карманьолки парфюмера эти таинственные знаки: «Т.Т.»

И скрылся в толпе.

Теснимый народом и весь поглощенный зрелищем казни, Сюрко ничего не почувствовал.

Когда осужденные входили один за другим на подмостки эшафота, народ пел хором: «Тебе воздадут по делам твоим».

Стоя у одного из столбов эшафота, Фукье-Тенвиль, которого высадили первым из тележки, чтоб он мог видеть смерть всех своих сообщников, бросал презрительные взгляды толпе, которую держал в постоянном страхе в продолжение многих месяцев.

Пятнадцать раз Фукье, прислонившись к позорному столбу, чувствовал удар ножа гильотины, сотрясавший весь помост, падая на шеи осужденных.

Пятнадцать раз судорожный толчок потрясал его с головы до ног, но не заставил потерять дерзкого вида.

Тенвиль твердым шагом взошел на эшафот, когда подошла очередь.

Народ громко требовал, чтоб палач показал отрубленную голову преступника, и желание толпы было исполнено: палач поднял ее высоко над собой.

(Говорят, что вечером того дня Гаво, творец «Бедного семейства», упал в обморок при известии о странном успехе своей песни, послужившей аккомпанементом топору гильотины!)

Добряк Сюрко не стал дожидаться окончания казни. Несмотря на обещание, данное Брикету, он один ушел с Гревской площади. Пробираясь вдоль стен домов, он успел выйти из толпы и добраться до набережной Межессери, довольно пустынной.

Чувствуя наконец, что тяжесть свалилась с его плеч, он шел более твердой поступью. Время от времени словно неведомое счастье душило его, он останавливался и жадно взыхал полной грудью, потом неожиданно разражался взрывом хохота или радостными восклицаниями, весело потирая руки.

Верно то, что он нисколько не напоминал того мертвенно бледного, трепещущего Сюрко, который за четыре часа перед этим шел по той же дороге повесив нос, а теперь возвращался с высоко поднятой головой.

Этот добряк-парфюмер был так счастлив, так счастлив, что даже не замечал, что, увидев загадочные буквы на его спине, за ним следили с самой Гревской площади какие-то таин-

ственными людьми, как будто не знакомые между собою. Он шел, охраняемый без своего ведома, справа, слева, впереди и сзади.

По дороге к дому он предавался веселому раздумью.

«Эге! – говорил он сам себе. – Вот так, дорогой друг, который отложил себе денежку на голодный денек! А тут-то раз навсегда ему утолили голод».

За этими словами последовал очередной взрыв нервного смеха, и он прибавил, похлопывая себя по бедрам:

– А теперь эта денежка достанется мне! Славный, кругленький кушик!

Сделав несколько шагов вперед, он остановился и, потирая руки, прошептал:

– Кушик в несколько миллионов!

У Мон Блан, на которой сояла лавочка Сюрко, странные «телохранители» все еще шли по следам парфюмера.

Но увидев его входящим в магазин, они вдруг остановились, как будто пораженные неожиданным открытием. На свист соглядатая, шедшего впереди, все, один за другим, направились к проулку, соединявшему Мон Блан с улицей Гельдер. Встретившись в этом длинном, темном проходе, загадочные люди, которые еще минуту назад, казалось, не знали друг друга, захочотали:

– Мы гнались за зайцем, на которого уже направлено ружье, – сказал один из них.

– Молодчик, о котором говорят много дурного, – прибавил другой.

– Он в хороших руках, и нам нечего беспокоиться о нем. В поход, господа!

Покинув переулок, они разбрелись в разные стороны.

Парфюмер вошел к себе. В лавочке он выказал странную прыть: весело шагая взад и вперед, он распевал куплетец, который стал известен только за два дня перед тем и который приписывался перу молодого журналиста Мартинвилля, заподозренного в неискренности своих демократических чувств:

Fraternisons, cher Jacobin,
Je me repends. Je veux enfin
Etre un vrai sans-culotte.
Oui, je veux t'aimer desormais,
Offre-moi un baiser de paix
Et j'ote ma culotte¹⁰.

Сидя за своей contadorкой, госпожа Сюрко не обратила бы ни малейшего внимания на приход парфюмера, если бы не его пение. Такое необыкновенное поведение удивило ее и заставило взглянуть на мужа, стоявшего к ней спиной. Написанные на его куртке буквы бросились ей в глаза.

– Что у вас такое на карманьолке? – спросила она.

– Где? – не понял муж, оглядывая свою одежду.

– На спине.

Сюрко стащил куртку и тоже увидел белые буквы.

Напрасно ломал он себе голову, пытаясь разрешить их смысл.

– Какой-нибудь шутник посмеялся надо мной, – сказал он после тщетных размышлений.

Он начал оттирать буквы рукой, но жирный мел въелся в материю и сходил очень плохо.

– Нужно сильнее почистить щёткой, – посоветовала Лоретта.

– Сильнее, – сказал Сюрко. – Так это дело Лебика.

¹⁰ Будем жить по-братски, друг мой якобинец. Я приношу покаяние и хочу наконец жить истым бесштанником. Да, хочу отныне любить тебя, дай мне поцелуй мира – и я сташу долой свои штаны.

Он позвал верзилу-приказчика, занимавшегося в лаборатории чисткой металлических вещей.

Парфюмер держал в руках свою карманьолку в ожидании Лебика, когда дверь на улицу отворилась.

— Скажи-ка на милость, соседушка, — вскричал, входя, вернувшийся с Гревской площади Брикет, — так-то ты возвращаешься со мной вместе!

— Меня унесла толпа.

— Ну-тка, что это у тебя на одежде?

— Шутка, сыгранная со мной, — отвечал Сюрко, расстилая разукрашенную куртку перед глазами галунщика.

— Эти буквы, может быть, имеют какой-нибудь смысл? — спросил Брикет.

— По чести — ничего не знаю.

В эту минуту Лебик выходил из лаборатории.

— Что тебе, патрон? — спросил великан, говоря «ты» по обычанию того времени.

— Возьми это платье и отчисти хорошенько. Но не принимайся за него изо всей твоей силищи, скотина, а то пропрешь дыру.

Верзила-идиот взглянул на буквы, но ничего не понял, потому что не умел читать. Потом вскричал:

— Вот вы теперь — настоящая свинья нашего судьи, который клеймил свою скотину раскаленным железом!

И он разразился дурацким хохотом, раздавшимся подобно громовому удару.

— Экая одрань, экое животное! — сказал галунщик, глядя вслед удалявшемуся Лебику.

— Да, но я доволен таким дюжим детиной, охраняющим мою собственность и меня, — возразил Сюрко.

«Особенно теперь», — прибавил он про себя.

Вдруг дверь лавки наполовину приоткрылась и из-за нее выглянула голова, вся в грязи, с клоками длинных волос, спадавших на глаза так, что определенно невозможно было сказать что-нибудь о наружности и летах этого человека.

— Ножи точить, ножницы точить! Не надо ли точильщика? — прокричал пронзительный голос, раздавшийся по всему дому.

— Нет, — отвечала гражданину Лоретта.

Дверь захлопнулась за ним, и странный мастер, толкая перед собой точилку на колесах, продолжал резко выкрикивать: «Кыш, кыш! К точильщику!»

При звуке этого режущего ухо голоса гражданин Брикет засмеялся.

— Ай да парень! — сказал он. — Чудный у него голосок! Будет слышен за версту.

Сюрко ничего не ответил, но прислушался. Крик точильщика снова повторился, но уже на значительном расстоянии.

«Странно, — подумал парфюмер, — я как будто недавно где-то слышал этот голос».

Но эта мысль сразу же покинула его, когда Лебик принес ему карманьолку, отлично вычищенную. Накидывая ее себе на плечи, Сюрко взглянул на массивные стенные часы, украшавшие лавочку.

Стрелка показывала пять.

— Соседушка Брикет, — сказал он, — докажи-ка, что не сердишься за то, что я ушел от тебя на Гревской площади, да отобедай со мной.

— С удовольствием, тем более что у нас дома едят еще по-старому и время обеда давно прошло.

В 1795 году парижане не обедали все в одно время. Одни еще следовали в этом отношении обычаю предков, а другие приучали свои желудки к новому обыкновению. Поначалу в

Париже обедали в два часа. Зрелища открывались в четыре и закрывались в девять часов, ко времени ужина. Этот порядок вещей был нарушен переменами в общественных делах.

Чиновники занимались в своих канцеляриях с девяти часов утра до двенадцати, потом опять возвращались в три часа и оставались до девяти вечера. Вечерние занятия оказались более убыточными, нежели полезными. Их уничтожили, и время открытия присутствий в различных бюро было назначено один раз в день, с девяти часов утра до четырех пополудни. Это нововведение породило многое перемен, к которым теперь приспособливались жители Парижа. Обедать стали в пять и даже шесть часов. Утомленные игрой в пустом зале пока весь город сидел за обедом, актеры должны были также изменить своей привычке и начинать спектакль в семь часов, чтобы кончать в одиннадцать.

Итак, в пять часов гость с хозяином уселись за стол. Парфюмер буквально светился радостью, так удивившей госпожу Сюрко, да галунщик не меньше поражался этому веселому настроению, никогда прежде не видав улыбки на лице соседа.

Чтоб не стеснять мужчин, Лоретта велела накрывать себе стол в своей комнате.

После обеда, который украсили три бутылки старого вина, по признанию Сюрко, из монастырского погреба, оба торговца, намереваясь закончить вечер так же приятно, как начали, уселись за игру в пикет, по двенадцати су ставка.

Сюрко, возбужденный и захмелевший, веселился все более и более шумно. Метая карты, парфюмер вдруг передергивался от неожиданных взрывов нервного хохота и, чтоб сколько-нибудь умерить душившую его тайную радость, счастливец отрывал в своей памяти песенки, которые когда-то так любил, будучи еще ярым санкюлотом.

Без сомнения, свежее воспоминание о недавнем зрелище, на котором он присутствовал, вызвало в его памяти песню, сложенную когда-то Сюло, на мотив «Менуэта Экзодэ», относящуюся к той эпохе, когда изобретена была страшная машина, действовавшая так исправно утром.

Покачивая в такт головой, веселый парфюмер бешено распевал:

Guillotin
Medecin
Politique
Imagine, un beau matin,
Que pendre est inhumain
Et peu patriotique,
Aussitot
Il lui faut
Un supplice
Qui, sans corde, ni poteau,
Lupprirae du bureau
L'office
.....
Et sa main
Fait soudain
La machine
Qui simplement nous tuera
Et que l'on nommera
Guillotine¹¹.

¹¹ Гильотэн, врач-политик, в одно прекрасное утро додумался, что вешать – бесчеловечно, несогласно с патриотизмом. Подавай ему наказание без веревки и столба и уничтожь должность палача... И вдруг рука его создает машину, которая сама

Окончив свою песенку, добряк хохотал от души, как настоящий баловень счастья.

Брикет старался вытянуть из него тайну этого ненормального состояния духа, но осторожность еще бодрствовала в мозгу опьяневшего парфюмера, потому что он несколько раз принимался бранить Брикета, замечая, что тот объявлял свою игру по старинным правилам.

– У меня пять червей при даме, три пики при валете и три короля! – говорил галунщик.

– О, гражданин! – кричал Сюрко. – Что это за язык аристократов? Разве ты не можешь говорить: пять при свободе вероисповеданий, три – при равенстве общественного положения и три гения!

Понятно, правительство не могло терпеть этих карточных королей и краль, когда обезглавило своих государей из плоти и крови, – правительство, которому Жан Брэй предлагал организовать общество из тысячи цареубийц, чтобы помочь иностранным союзникам свергнуть их монархов.

Коммуна предложила конкурс на изобретение новых игральных карт, обещая победителю десятилетнюю монополию на продажу карт по его образцу на всем пространстве республиканской территории. Бумагопродавец Мальвуазэн чуть было не схватил приз, благодаря своей гениальной мысли заменить карточных краль четырьмя Временами года, а королей – портретами четырех мучеников свободы: Маратом, Лепелльетье Сен-Фаржо, Лестерн-Бове и Лажуцким.

Этот последний был поляком, убитым в Тюильри 10 августа; ему Конвент устроил пышные похороны с надгробным словом, кончавшимся следующим напыщенно-смешным заключением: «Воздадим честь бессмертному праху героя, уступившего нам Польшу, героя, на которого все народы взирают с завистью».

Возвращаясь к картам и к бумагопродавцу Мальвуазэну, нужно сказать, что хотя он и был изобретателем в замещении королей и дам, но спасовал в валетах, так что награда была присуждена гражданам Дегуре и Жамсу.

Эти неустрашимые новаторы во весь бросились в аллегорию. Туз обратился в закон, господствующий над всем. Короли превратились в гении (гений войны – червонный; гений торговли – бубновый; гений мира – пиковый; гений искусств – трефовый). Дамы изображали из себя свободу (червонная – свобода вероисповедания; бубновая – свобода занятий; трефовая – свобода брака; пиковая – свобода печати), а валеты символизировали равенства (равенство черви – или равенство обязанности; равенство бубны – или равенство белых и черных; равенство пики – или равенство общественное; равенство трефы – или равенство прав).

Из этого видно, что игра в пикет с новыми картами сделалась развлечением довольно сложным, так что Брикета, не обладавшего хорошей памятью, легко извинить за его возвращение к старому методу, в котором упрекал его Сюрко.

– Сосед, – сказал лукавый галунщик, – если ты находишь предосудительной мою манеру игры, то отменим партию.

– Никогда! – вскричал Сюрко, выигравший и собирающийся опустить в карман монету в двенадцать су.

Видя, как исчезли его деньги, Брикет скрчил жалостную мину.

На этот раз парфюмер был очень створчив.

– Полно, мой бедный друг, – сказал он, – чтобы повеселить твою душу, я поднесу тебе стаканчик славной ратафии, я ее приберегаю для дорогих друзей.

– Идет, – сказал ненасытный торговец.

– Лебик! – позвал парфюмер.

— Что тебе? — откликнулся верзила из дальнего угла кухни, где он за обе щеки уплетал свой обед.

— Возьми-ка ты из погреба кувшинчик ратафии и налей нам два стакана.

— Хорошо! — проревел Лебик издалека.

— Ты угостишься настоящим нектаром, — сказал Сюрко гостю.

— Тем лучше! — отвечал Брикет облизываясь.

Они ждали несколько добрых минут.

— Лебик нескоро обернется, — нетерпеливо заметил Брикет.

Парфюмер засмеялся.

— Это животное так глупо, — сказал он, — что я уверен, он налил два стакана и не догадался, что их надо принести сюда.

Брикет остановил его, видя его намерение крикнуть Лебика.

— Нет, оставь его, а то этот безмозглый выкинет еще какую-нибудь глупость. Я сам пойду за стаканами, так-то мы их скорее получим, — сказал галунщик.

— Коли есть охота, сосед...

Брикет вошел в кухню.

Оба стакана, как угадал Сюрко, стояли на подносике, полные до верху, на буфете. Сидя поодаль, Лебик уминал огромный кусок бараньей лопатки.

— Вот тебе ратафия в стаканах, — сказал он.

— Что же ты не принес их на стол?

— Да разве патрон мне приказывали?

— Нет, но нетрудно догадаться.

— Когда он мне велит выливать нечистоты на улицу, разве надо нести их ему показать? — спросил глупый верзила.

Не удостоив его ответом, Брикет взял поднос и вернулся к Сюрко.

Стаканы были одной величины, но совершенно разной формы.

Парфюмер взял один из них.

— Вот мой стакан, я один пью из него. Это память о моем друге Геберте.

— А, да, которого звали отцом Дюшеном.

— Он пользовал его на последнем пиру, здесь, за несколько дней перед тем, как пойти попробовать азональной бритвы.

Произнеся это выражение, бывшее тогда у всех на языке для названия гильотины, Сюрко поднес стакан к губам. Брикет не замедлил последовать его примеру.

— Гм... кум... что ты скажешь об этом? сладко?... и густо? — спрашивал парфюмер при каждом новом глотке.

— Надо повторить, прежде чем высказать о нем верное суждение, — навязывался жадный галунщик.

Сюрко не успел ответить. Он ставил свой стакан на стол, глаза его странно замигали, рот открылся, как будто парфюмер хотел что-то сказать. Но не успел он выговорить и слова, как скатился со стула и ударился об пол.

— Э-э! Да мы пьяны, соседушка! — вскричал Брикет, наклоняясь, чтобы поднять хозяина.

Однако, поворачивая тело, он понял, что не опьянение подействовало на Сюрко.

— С ним удар! — воскликнул растерявшийся галунщик.

На его крики прибежала Лоретта. Увидев, что случилось с ее мужем, она разослала всех — Брикета, Лебика и служанку — за докторами.

Явились двое и, расспросив об обстоятельствах, предшествовавших этому случаю, объявили, что чрезмерное нервное возбуждение и затем плотный обед повлекли за собой апоплексический удар.

Отказавшись пускать кровь человеку, только что вышедшему из-за стола, доктора употребляли другие средства, помогавшие при таких случаях, но все было напрасно. Наконец господина Сюрко объявили умершим.

Так закончилась жизнь бедняги-парфюмера. Угрюмый человек испытал одну радостную минуту в жизни, но эта минута принесла ему несчастье.

Цепляясь за последнюю надежду, Лоретта не велела хоронить мужа в продолжение тридцати шести часов; но трупу, холодному и окоченелому, нужно было даровать наконец последнее жилище.

В то время когда еще в Париже не существовало конторы управления похоронами, горе потерявших родного человека не проходило через все формальности и не облагалось пошлиной, которые назначает управление в наше время.

Дело велось гораздо проще.

О смерти какого-либо лица доносили в участок, где получали дозволение хоронить, без требования двадцати четырех часов отсрочки или освидетельствования полицейского врача. На обратном пути заходили к первому столяру и заказывали гроб. Иногда его выставляли у дверей, если так желало семейство покойного. Гроб обивался вместо ныне принятого черного сукна трехцветной саржей. Что касается до украшения гроба религиозными эмблемами или отпевания тела в церкви, нечего было об этом и думать по той простой причине, что в описываемое время в Париже не было ни церквей, ни священнослужителей, ни эмблем. Все исчезло с того дня, как покровительница Парижа была казнена на Гревской площади, и ее тело вытащили из гроба и сожгли на костре. Правда, в 1795 году ожесточенное преследование духовенства несколько поутихло, и еще незадолго до того один священник, уличенный в продаже святой воды, был присужден только к купле патента на право торговли лимонадом.

Нельзя сказать, чтобы всякая религия была попрана, нет, но существование ее было сомнительным.

Кроме служения Высшему Существу, бытие которого было милостиво допущено Робеспьером, придуман был еще странный культ Богини Разума, пророком которой явился прокурор Коммуны Шомет. Роль Богини Разума исполнялась девицей Мильярд из Оперы, великолепной женщиной, которая явилась в Нотр Дам, обернутая в простую пеленку, схваченную в талии очень тонким пояском, и воссела на престол, где прежде стояли святые дары, с торжественностью тем более внушительной, что Шомет, предостерегающе указывая на шею, дал понять Богине, что при малейшем ее колебании он поступит с ней как с простой смертной. Мадемузель Мильярд председательствовала во время священных танцев, исполнявшихся в соборе балетной труппой Оперы, в то время как хоры того же театра пели республиканские канканы, из которых мы приведем только один припев:

Pour Evangile ayons nos lois,
La Marseillaise pour cantique,
Pour enfer l'empire des Rois,
Pour paradis la Republique¹².

В этой новой религии и погребальные обряды, и молитвы были благополучно забыты.

Когда покойного Сюрко раз навсегда заколотили в гроб, обшитый трехцветной саржей, Лоретте ничего не оставалось делать, как распорядиться о перенесении тела прямо на кладбище.

Но здесь вновь необходимы пояснения.

¹² Евангелием нашим пусть будут законы; Марсельеза – гимном, адом – царство Королей, а раем – Республика.

Во время Республики в Париже были два кладбища – Кламар и Муссо. Первое, находившееся в конце улицы Лусталот (Св. Виктора), было обширным огороженным местом, с ямой, покрытой доской с отверстием, шириной в шесть футов, через которое спускали мертвых.

Кладбище Муссо состояло из двух глубоких рвов. В один из них складывались те, которые умерли естественной смертью. Все же обезглавленные на площади Революции сваливались во второй ров, вокруг которого стояли бочки с жидкой известью, которой обливались трупы. Здесь-то, на глубине десяти футов, были похоронены Людовик XVI и королева.

На воротах кладбищ, не имевших ни крестов, ни символических памятников, виднелась следующая надпись: «Поле успокоения», а ниже одно слово: «Спите!»

Сказав, что в Париже существовало два кладбища, мы были не совсем точны, потому что со временем смерти Робеспьера Муссо оказалось заброшенным. Оно продавалось как национальная собственность и в скором времени должно было перейти к купившему его Деклозо, который с благочестивой целью развел сад над этими обезглавленными телами. Столбик, поставленный им, указывал на место погребения царственных останков. Двадцать лет спустя правительство Реставрации распорядилось провести в этом месте раскопки. Все, что нашли там: чулок, подвязка и волос королевы, уцелевшие от разъедающего действия извести.

Тележка палача была единственным общественным экипажем Парижа и потому развозила одних казненных.

Другие мертвцы переносились на руках родными, друзьями или комиссионерами, нанимаемыми по часам.

Часто случалось так, что кладбище Кламар находилось далеко от жилища покойного, и когда носильщики доходили до улицы Лусталот, они уже чувствовали полное изнеможение от усталости и особенно жажды.

Между тем на этом месте их ожидал один соблазн.

Улица Лусталот, оживленная из-за близости кладбища, сплошь была занята виноторговцами.

Перед дверьми каждого из этих продавцов были устроены подмостки, на которых оставлялись мертвые, пока носильщики заходили выпить и отдохнуть. На пороге одного дома частенько встречались восемь или десять гробов, на которых не было других признаков отличия, кроме значка, оставленного носильщиками, шапки, галстука или носового платка. Но эта предосторожность была излишней, потому что носильщики после подобной остановки зачастую были так пьяны, что хватали с подмостков наудачу один из первых попавшихся гробов с совершенно одинаковыми трехцветными обшивками.

Если случалось, что счет превышал средства пьяниц, виноторговец оставлял у себя мертвца в залог, когда узнавал, что покойный приходился сродни одному из этих бескобейных, и бедолаге приходилось возвращаться в город за деньгами для выкупа гроба. Но случилось и так, что родственник не возвращался и мертвец оставался в уплату долга купцу, который таким образом принужден был отправлять его на кладбище Кламар с своими гарсонами.

Также часто случалось, что у чересчур нализавшихся носильщиков вино отшибало память и они забывали гроб на подмостках.

Так как после Сюрко не осталось ни одного родственника, который взял бы на себя хлопоты при его погребении, Лоретта вынуждена была обратиться к наемным носильщикам. Как расчетливая вдова она хотела воспользоваться силой Лебика и, дав ему на помощь комиссионера, она поручила своему приказчику перенести покойного.

Тогда не было в обычай, чтобы женщины провожали гроб. И так как Лоретта не могла идти за телом, тленные останки парфюмера были унесены под присмотром идиота.

Последуем за Сюрко в его последнее жилище.

Комиссионер был мал ростом, так что вся тяжесть наклонившегося гроба, поднятого великаником Лебиком, обрушилась на плечи помощника. К тому же этот детина нисколько не

чувствовал бремени своего груза и шел широким шагом, за которым его запыхавшийся товарищ поспевал с большим трудом.

По дороге немного отдыхали, но, когда приблизились к улице Лусталот, комиссионер совершенно выбился из сил, и жажда заставила его выставить длиннейший язык. Поэтому при виде первых подмостков виноторговца он остановился как вкопанный, словно осел перед конюшней.

– Не выпить ли нам по чарочке? – спросил он.

– А что мы сделаем с нашим ящиком? – возразил Лебик, который, казалось, был очень мало знаком с местными нравами.

Комиссионер объяснил назначение подмостков, и великан, который обычно туто разбирал толкования, казалось, на этот раз смекнул в чем дело.

Но он колебался.

– Эге! – воскликнул он. – А что если украдут кости моего покойного хозяина, пока они валяются здесь, на этих деревянных дощечках?

Комиссионер захохотал.

– На кой черт воровать их? Что, по-твоему, из них можно сделать? – возразил он.

Лебика мучила жажда, и он поддался на уговоры. Но перед входом в кабачок, он еще как будто чувствовал упреки совести.

– Нет, – сказал он. – Моя хозяйка, может быть, пошла за нами и увидит, что я потягиваю водичку, вместо того чтобы делать свое дело.

– Мы пойдем туда, в дальний конец лавочки, в маленькую комнатку, из которой есть выход на двор. Там уж никто нас не увидит, – настаивал комиссионер, знакомый со всеми закоулочками питейного дома.

Лебик поддался соблазну.

Пристроив свой груз на уличных подмостках, они вошли. Чтобы заставить комиссионера опять втянуть свой до крайности пересохший язык, необходимо было серьезное заседание. Лебик уже не ворчал и хорошо сыграл свою партию в питейном дуэте.

Выйдя из кабака, оба товарища, немного подгулявшие, нашли своего мертвичка на прежнем месте и снова пустились в путь.

Но улица Лусталот была длинна, и чтобы дойти до Кламорского кладбища, нужно было пройти мимо многих виноторговцев, подмостки которых соблазняли носильщиков к отдыху.

Поэтому Лебик вернулся вечером в магазин совершенно пьяным, пережевывая слова со своим громовым дурацким смехом:

– Уф! В большую яму...

* * *

Итак Сюрко умер и был похоронен.

Месяца через три после его смерти Лоретта испытала те страшные минуты, когда ей почудились ночью шаги в комнате покойного, заставившие ее встать и осмотреть его кабинет, и когда она, вообразив, что фитиль свечки горяч, бросилась со всех ног к мансарде Лебика. Мало-помалу исчезла ее безумная мысль о возвращении Сюрко, над которой она первая и посмеялась, потому что исчезли сами причины, породившие это суеверие: движение мебели и неопределенный шум не слышались больше.

Вдова охотно населила бы свой дом жильцами, но строгий закон, распространявшийся на тех, кто укрывал подозрительных личностей, был все еще в силе. Она боялась попасть впросак. Впрочем, она спала спокойно в этом громадном пустом здании под охраной Лебика, расположившего каждый вечер свою постель у дверей ее комнаты.

Неудовлетворенная своим первым замужеством, Лоретта отстраняла все предложения многочисленных обожателей, толпившихся каждый день в ее магазине. Они наладили ее торговлю, но не смягчили сердца. Так прошло три года.

Госпожа Сюрко, неполных двадцати лет от роду, жила без всяких забот, кроме разве той, которую доставляли ей размышления о внезапных оцепенениях, повергавших ее тотчас в тяжелый сон. Незаметно для себя она втянулась в эту жизнь без всяких волнений, но однообразие ее существования неожиданно прервалось в тот момент нашей истории, когда Лоретта задремала в креслах у изголовья больного.

Однажды на рассвете Лебик постучался к ней и рассказал о странном происшествии.

За четверть часа перед тем его разбудили сильные удары кулака в наружные ставни лавки, и он поспешил выйти на этот ранний зов. Но, отворив дверь, он увидел на пустынной улице только одного молодого человека, раненого и лежащего без чувств перед домом.

– Что же ты с ним сделал? – спросила Лоретта.

– Я оставил его на месте.

Госпожа Сюрко тотчас же велела перенести раненого в бывшую комнату парфюмера и потом послала за доктором.

В продолжение пяти дней, проведенных в беспамятстве, Ивон Бералек – а это был он – находился под присмотром заботливых сиделок, Лоретты и великана Лебика, который часто восклицал:

– О, несмотря на козырь на его голове он чертовски красивый малый, бледняк-то этот!

Не знаем, думала ли то же самое молодая женщина прежде своего слуги.

Наконец на шестой день, утром, Лебик прибежал к ней и рявкнул веселым голосом:

– Хозяйка, молодчик-то отыскал свой компас: он говорит как особы со здравым рассудком.

– Знает ли он, где лежит? – спросила Лоретта, у которой от этой новости чуть дрогнул голос.

– Да, я ему сказал.

– Он догадывается, что я ходила за ним? – спросила она опять.

– Он мне об этом не сказал ни пол слова. Только он суетится, как черт какой.

– Отчего?

– Непременно хочет вас видеть, сейчас же, и поблагодарить.

Лоретта смутилась. Наконец, с легким сердечным волнением, в котором она сама себе не могла дать отчета, грациозная, прелестная женщина направилась к комнате Ивона Бералека.

VIII

Объяснив читателю, как Лоретта за три года перед тем потеряла и схоронила своего мужа, мы вернулись к тому месту нашего рассказа, когда очаровательная продавщица приближалась к спальне Ивона Бералека, пришедшего наконец в сознание после долгого беспамятства.

Но если кавалер находился уже пять дней под кровом Лоретты, отчего Пьер Кожоль не проник еще в этот дом, у которого стоял в первый же день поисков, благодаря своей необыкновенной способности отыскивать след человека по малейшей зацепке, – способности, сыскавшей ему у шуанов прозвище Собачьего Носа?

Чтоб объяснить это обстоятельство, нужно вернуться к графу, которого мы оставили у дома под № 20 на улице Мон Блан, где фермер Этьеном остановил свою повозку и высадил раненого и его товарища.

– Но здесь ли это? – размышлял Кожоль. – Может быть, тот, кто нес кавалера, хотел сбить с толку преследователей и потому остановился здесь на время, а потом снес Ивона в другой квартал.

Пока он раздумывал так, глаз его отыскивал вокруг какие-нибудь улики.

– Мне кажется, кровавая драма, закончившаяся у парфюмерной лавочки, должна иметь совершенно необычайную развязку, – продолжал он.

В это время взгляд Пьера остановился на фундаменте парфюмерной лавочки.

– Э-э! – произнес он. – Вот что-то новое!

На этом фундаменте, в двух с половиной футах от земли, он отыскал красное пятнышко.

– Неужели здесь? – спрашивал он себя. – Это пятно доказывает, что спаситель Ивона должен был усадить кавалера и прислонить к стене, чтобы самому в это время отворить дверь. Голова сидящего человека как раз находилась бы на такой высоте.

Взгляд Пьера в следующую секунду упал на порог лавочки, выложенный каменными плитами, на которых засохли две темноватые капельки.

– Да, это здесь, – решил Кожоль. – Ивон, рана которого все еще кровоточила, должен был пройти через ту дверь.

Не колеблясь, граф вошел в магазин, где в это время был один Лебик.

«Ей-богу, – подумал Пьер, увидев его, – вот так парень! Он в состоянии тащить двоих Бералеков».

Великан, осмотрев его с самым бессмысленным видом, спросил:

– Гражданину нужно духов?

– Нет, я желал бы поговорить с доктором, который живет в этом доме.

– Здесь нет ни докторов, ни жильцов, – сказал Лебик с густым дурацким смехом.

– А, – возразил Кожоль, – я думал, что больного перенесли к доктору!

Как ни был глуп Лебик, он знал, однако, всю опасность, которой подвергались домовладельцы, принимая в дом незнакомцев. Поэтому, без сомнения, не желая компрометировать свою госпожу, он решил, что ни в чем не должен сознаваться перед пришельцем.

– Какой больной? – спросил он.

– Да тот, которого принесли… или, может быть, ты сам принес сегодня утром.

– А! Гражданин, вероятно, говорит о молодом человеке, которого нынче ночью подкинули к нашим дверям.

– Да. Что с ним сделалось?

– Я его оставил там, где нашел.

– Да это бесчеловечно!

– Ба! Послушай-ка, гражданин, мы не имели ни малейшей охоты ссориться с полицией из-за постановления об укрывательстве подозрительных лиц.

– В таком случае кто же его поднял?

– Может быть, его увезли огородники, возвращавшиеся с рынка... чтобы воспользоваться пожитками молодого человека, если он умер.

– Итак, – продолжал граф, – ты не вносил больного в лавочку, чтобы оказать ему помощь?

– И не думал.

Слушая невозмутимые ответы Лебика, Пьера заметил на полу целый ряд мелких красных пятен, идущих от порога во внутренние помещения магазина.

Вместо того чтобы сообщить приказчику о своем открытии, которое явно опровергало его уверения, граф поклонился Лебику, говоря:

– Я ошибся. Благодарю за сведения, гражданин.

И Кожоль спокойно вышел вон.

Лебик не сказал Лоретте ни слова об этом посещении. Конечно, великан не хотел, чтобы его госпожа поплатилась за доброе дело.

На улице Кожоль снова начал свой монолог:

– Ивон там, я уверен. Только, боясь навлечь на себя подозрение, добрые люди, приютившие его, не хотят сознаться. Что бы ни делал, я не смогу рассеять их недоверие. Поэтому нужно придумать ловкий план пробраться в дом.

Он остановился, чтобы хорошенько поразмыслять.

– Посмотрим, – сказал он, – сообразим, что должно было случиться. Подняв моего бедного друга, эти люди должны были послать к нескольким докторам, живущим по соседству, потому что в спешных случаях всегда посылают к двадцати, чтоб отыскать хоть одного. Кого-то не застают дома, другим нельзя тотчас отлучиться; но через несколько часов они являются вдруг целой гурьбой. Поэтому что мешает мне представиться врачом, немного замешкавшимся с приходом? Так живей! Преобразимся в доктора... а особенно надо поработать над их походкой.

На этом месте своего монолога Кожоль, задумчиво поднявший глаза, вдруг воскликнул:

– Ей-богу! Дорого бы я дал за походку вон того маленького старичка: сразу видно, что неподставной доктор!

Пьер остановился, чтоб лучше рассмотреть приближавшегося невысокого человечка, с волосами, белыми как лен, в золотых очках, в плаще бурого цвета, накинутом поверх старого черного платья. Старичок шел по улице, семеня маленькими ножками и опираясь на высокую трость, которой постукивал о мостовую.

«Этот господчик не смог бы скрыть свою профессию, даже если бы захотел, – думал Кожоль. – Он лекарь с головы до ног! Должно быть, многих уж отправил на тот свет».

Наконец доктор поравнялся с Пьером, который собирался было посторониться, уступая дорогу, как вдруг прохожий положил сухую руку на плечо молодого человека, сказав ему вполголоса:

– Что тут делает граф Кожоль?

Пьер с удивлением взглянул на старичка, откуда-то знавшего его имя.

– Да, – повторил подошедший, – что тут делает шуан Собачий Нос?

Услышав столь прямой вопрос, Кожоль удивленно вытаращил глаза. Прежде чем он успел выговорить хоть слово, незнакомец сделал рукой один из масонских знаков, бывших в большом употреблении у начальников шуанов. Очевидно, этого знака довольно было, чтоб навести графа на простую догадку, потому что он разразился смехом и, с восторгом оглядывая старичка, сказал ему, тоже понизив голос:

– Честное слово! Одни вы способны так преображаться. Клянусь, я бы никогда вас не узнал, аббат.

– Ш-шты! – предостерег Монтескью.

Этот старичок, такой дряхлый с виду, был аббат Монтескью, человек сорока лет, искусные преображения которого постоянно ставили в тупик полицию Директории, ожесточенно преследовавшую его. Надо заметить, что аббат, в интересах роялистской партии, организовал контр-полицию, которая предупреждала его о всех расставленных для него ловушках и различных маневрах партий, пытавшихся добиться власти.

Одаренный необыкновенной живостью и энергией, аббат не довольствовался донесениями своих агентов и сам лично проверял их. В этот ранний час он бродил вокруг дома Жозефа Бонапарта, узнав из донесений, что тот устраивает ночные соборища, участники которых расходятся на рассвете.

Ни одно место не могло годиться для этих тайных сходок больше, чем жилище Жозефа Бонапарта. Расположенное на улице Роше, в квартале, появившемся только в 1798 году, соседствующее всего с несколькими домами, оно было со всех сторон окружено садами.

Аббат присутствовал при выходе бонапартистских партизан, но их совещание не пугало его.

— А! Бонапарты помышляют о лакомом кусочеке для своего братца! — сказал он себе. — К сожалению, их герой в Египте и не может возвратиться, если только не захочет совершить подлости, дезертировав из армии, которую сам же увлек в эту опасную экспедицию. Прежде, нежели первая весточка о его возвращении долетит сюда, я уже куплю Барраса и сообщников его, и шутка будет сыграна.

Возвращаясь из своего дозора, этот главный деятель роялистской партии увидел Кожоля, которого знал так же хорошо, как и всех других начальников шуанов.

Прошептав предостерегающее «ш-шть!», аббат повернулся к стене, шедшей здесь вдоль улицы, и принял читать — или делал вид, что читает — приkleенное объявление. Кожоль тотчас же понял эту уловку и тоже уставился на афишу.

Оба, с поднятыми кверху носами, как будто углубленные в серьезное чтение, казалось, совсем не замечали друг друга, но разговор их продолжался.

Скажем мимоходом, что эта афиша прибита была со странной целью. Пять лет уже недостаток хлеба мучил страну, и народ продолжал часами выстаивать перед дверьми булочников. Городское начальство постановило, чтобы беременные женщины проходили первыми за покупками. Поэтому многие бедные женщины, подстрекаемый голодом и желая воспользоваться этим преимуществом, ухитрялись выдавать себя за беременных. Объявление гласило, что женщины, пойманные с глиняными горшками или подушкой под юбками, будут лишены порции хлеба, раздаваемой в участках.

Устремив взгляд на это объявление, из которого, однако, не видели ни слова, аббат с Кожолем переговаривались шепотом:

— Опять спрашиваю вас, граф, что вам нужно было в этом квартале? — говорил аббат.

— Я ищу друга, который попался в какую-то подлую ловушку нынче ночью, возвращаясь с Люксембургского бала.

— Его имя?

— Кавалер Бералек.

— Так скоро! — невольно вырвалось у аббата.

— Как? Скоро? Разве вы знали об опасности, угрожавшей моему храброму Ивону? — спросил Кожоль, удивленный этим восклицанием.

— Да я-то и дал ему поручение, которое раньше стоило жизни троим нашим людям, — холодно отвечал Монтескью, сам готовый погибнуть за свое дело и поэтому мало дороживший жизнью других.

Кожоль замолчал и скрыл неприятное чувство, вызванное откровенностью начальника.

— Итак, кавалер умер? — спросил аббат после некоторого молчания.

— Если не умер, то его положение нисколько не лучше в настоящую минуту.

Кожоль передал все, что знал и отгадал в этом приключении.

— Что это за люди, которые напали на него? — допрашивал Пьера аббат.

— Мне ничего не известно. Знаю только, что на месте схватки остался обезображеный труп одного из их шайки.

Аббат задумался, вспомнив о таинственных врагах, которые уже в четвертый раз становились ему поперек дороги.

Минуту спустя он начал:

— Знали ли вы о деле, доверенном господину Бералеку?

— Он мне сказал о нем кое-что.

— Это правда, вы два закадычных друга, между которыми не могло быть тайн.

Кожоль собирался защищать Ивона от косвенного упрека в неосторожности, но аббат не дал ему времени на оправдания.

— Но, граф, я не осуждаю вашего друга в том, что он вам доверился, ведь благодаря именно этому мы могли найти его след, — живо возразил Монтескью, угадавший чувства Пьера.

«Это правда, — подумал Кожоль. — Если б Ивон ничего не сказал, я бы не знал, с чего начать свои поиски».

— Кто бы мог быть этот незнакомец, который поднял вашего больного друга? — сказал аббат.

— Не знаю. Я сначала предположил, что это тот большой дурень, к которому я обращался. Но теперь склонен думать, что незнакомый спаситель положил Ивона перед лавочкой, а сам ушел, а друг мой был принят хозяйкой этого безмозглого приказчика.

— И вы уверены, что кавалер действительно в этом доме?

— Вполне убежден. Но эти трусы не хотят сознаться.

Аббат раздумывал.

Когда он снова заговорил, его голос звучал повелительно.

— Слушайте, граф. Вы пойдете по этой улице и, дойдя до бульвара, подождете меня. Я сам осмотрю дом, в который попал Бералек, и решу, что нам делать дальше.

Ни слова не возразив, Кожоль последовал по приказу начальника и твердым шагом дошел до бульвара.

Здесь он обернулся.

Перед ним вытянулась во всю длину улица Мон Блан, и вдалеке он увидел аббата, все еще созерцающего объявление. Скоро и он направился вслед за Кожолем своим дробным старческим шажком.

Поравнявшись с № 20, аббат, не останавливаясь, поднял глаза и увидел вывеску, на которой значилось: «Косметический магазин Сюрко».

Издали Кожоль заметил, как аббата вдруг передернуло, и он поспешил пройти мимо дома.

Когда Монтескью поравнялся с Пьером, он казался неожиданно взволнованным.

— Господин Кожоль, не находите ли вы, что вы обязаны безусловно мне повиноваться? — спросил он отрывисто.

— Да, аббат.

— Итак, я требую, чтобы вы оставили своего друга в этом доме и не старались бы добраться до него без моего разрешения.

Кожоль сделал нетерпеливое движение.

— Я вам приказываю, сударь, в интересах дела, которому мы оба служим... во имя короля, — добавил аббат.

Молодой человек молча поклонился начальнику и удалился. Прежде чем уйти, аббат бросил прощальный взгляд на дом Сюрко и весело прошептал:

– Судьбы своей не избежишь. Там или здесь, но Бералеку на роду написано быть соблазнителем – ради торжества королевского дела.

IX

Если осужденный на смерть имеет в распоряжении двадцать четыре часа на проклятия своим судьям, то подчиненный должен располагать таким же временем, чтобы роптать на свое начальство. Граф Кожоль, возвращаясь в гостиницу «Страус», от всей души ругал Монтескью.

— Чтобы ему провалиться, проклятому аббату! Какая польза в том, что Бералек сидит в этой помадной банке! И ладно бы только нелепое промедление в нашем деле. Но нет! Тут еще и строгий запрет видеть моего друга! О! Этот приказ меня бесит! Чтоб отвести душу, с каким удовольствием я бы намял сейчас чьи-нибудь бока!

Едва Кожоль загадал это желание, как вдруг чей-то голос выстрелил над его ухом изо всей силы здоровых легких: — Да здравствует Директория!

То был почтенный Жаваль, который, завидев дорогого постояльца, спешил засвидетельствовать свою преданность законной власти.

При этом оглушительном реве Кожоль с яростью обернулся.

Видя сверкающий взгляд жильца, трактирщик, выдавивший было приятную улыбочку, весь позеленел и затрясся.

— Подставь-ка мне свою спину! — сухо сказал Пьер.

— Но гражданин... вежливость...

— Спину подставляй! — еще строже велел молодой человек.

Жаваль понял, что тут нечего было рассуждать или объясняться по поводу этой странной фантазии, и повернулся.

Но как только он исполнил приказание, то сразу почувствовал, что зашатался с головы до ног от здорового пинка по некоторым мясистым частям своей особы.

— Уф! — произнес Кожоль со вздохом удовольствия, показывавшим, что он славно успокоил свои взволнованные нервы.

Потом он прибавил очень ласковым голосом:

— Благодарствую, мой дорогой Страус.

Жаваль был так ошеломлен этим чудовищным ударом и этим «благодарствием», что придумал сказать только одно: — К вашим услугам, сударь.

У Кожоля дурное расположение духа никогда не было долгим, и в следующее мгновение он уже весело заговорил: — Теперь, Страус, надо довершать твои благодеяния и дать мне поесть: у меня волчий аппетит. С самого утра я порядочно находился.

— Гражданин, вероятно, побывал по крайней мере у самой Гренельской долины? — спросил дрожащим голосом Жаваль, продолжавший видеть в жильце властелина своей судьбы.

— Да, именно. Я следил там за одним делом, — намекнул Пьер, считавший полезным поддерживать в своем хозяине постоянный страх.

«Без сомнения, чудовище приказало расстрелять двух или трех жертв... Для него это средство возбуждения аппетита», — подумал испуганный трактирщик.

— Ну же, — крикнул граф, — поворачивайся поживее, любезный! У меня мыши скребутся в животе.

— Так ваша милость сядет за стол, не повидавшись с господином, который с час уже ждет вас в вашей комнате? — спросил Жаваль.

Пьер навострил уши.

— Что ты сказал? Меня ждут? Меня? — переспросил он, скрывая свое удивление.

— Да, гражданин. Гость отчетливо выговорил мне ваш титул и фамилию: кавалер Бералек.

Кожоль собрался было отнекиваться, когда вспомнил, что для трактирщика он и был кавалером Бералеком с того самого дня, как впервые встретил Жавала.

Ивон уже попал в опасный переплет; и теперь не время было уклоняться, возможно, от новой беды, грозившей его другу.

«Ай, да ну! – думал Пьер весело. – Забавно, однако, что моя мистификация может втащить меня в какое-нибудь смешное приключение. Ну! По крайней мере я убью время, пока аббат не соблаговолит дать свое согласие на свидание с другом».

Кожоль тотчас решил, что ему делать.

– Ты говоришь, Страус, что меня ждут наверху?

– Да, в вашей комнате.

– Хорошо, иду туда.

– Не пообедает ли кавалер сначала? Вы, конечно, забываете, что обед стоит в счете за комнату… так же как и завтрак, и ужин! – поспешил кричал Жаваль вслед графу, который уже бежал вверх по лестнице.

Перед своей комнатой молодой человек остановился и сказал себе:

– Будем действовать осмотрительно и убедимся прежде, видел ли незнакомец Ивона.

Граф толкнул дверь, и его глазам предстал гость, стоявший перед окном и терпеливо смотревший на улицу, барабаня пальцами по стеклу.

«Господи боже! – подумал Пьер. – Вот так рожа! Низкий лоб, тонкий рот, словно без губ, глаза, почти совсем прикрыты тяжелыми, нависшими веками», – таковы были отличительные черты этого угрюмого, сонного лица. Но почти не видимые глаза незнакомца сверкали звериной хитростью.

Посетитель сделал несколько шагов к графу и спросил замечательно кратким голосом: – Вы кавалер Бералек?

«Он не знает Ивона», – подумал Кожоль, склоняя в приветствии голову, что можно было принять за утвердительный жест.

Подняв глаза, молодой человек уставился на гостя в ожидании. Тот понял и прибавил: – Меня зовут Фуше.

При имени Фуше, который во время своего правления в Дионе проливал ручьями кровь соотечественников, граф содрогнулся от невольного отвращения и ненависти, но сразу обуздал свое волнение.

– Ну, что ж, гражданин Фуше! Что вам угодно от меня? – спросил он, притворяясь удивленным.

Фуше, впоследствии страшный префект полиции, в то время приблизился к своему сорокалетию. Видя презрение и пренебрежение к себе сильных мира сего, этот человек, предчувствовавший какой-то переворот в правлении, поворачивался в разные стороны, как флюгер, безошибочно чувствуя, откуда дует ветер. Не доверяя в то время успеху Бонапарта, который, по его мнению, сделал непростительную глупость, покинув Францию, Фуше желал увериться, нельзя ли с выгодой вернуться в ряды роялистов. Иначе сказать, он продавал себя тому, кто сумел бы дорого оценить его таланты, бесспорно, замечательные.

Накануне, на балу Директории, он отгадал тайну роялистской интриги благодаря сцене, произошедшей между любовницей Барраса и неизвестным ему щеголем. Читатель помнит, что Фуше входил в зал в ту самую минуту, когда Ивон, пользуясь обмороком дамы и всеобщим замешательством, опрометью бежал из комнаты. Молодой человек исчез так быстро, что Фуше не успел его рассмотреть. Когда он помогал Баррасу переносить бесчувственную женщину, она что-то проговорила.

– Что она сказала? – спросил Директор.

– Я не понял, – ответил осторожный Фуше, очень хорошо расслышавший ее слова.

Красавица произнесла лишь одно имя – имя Ивона Бералека, известного в истории восстания Шуанов.

— Этот молодой человек — агент аббата Монтескью, — говорил себе Фуше. — Барраса хотят купить; пусть же и меня покупают. Надо отыскать этого щеголя.

Кожоль прописался в книге Жаваля под именем Бералека, и Фуше без труда нашел его, обратившись в участок, где хранился список всех приезжих, останавливавшихся в гостиницах Парижа.

Фуше, не зная о происшествиях ночи и перемене фамилии, обращался к Кожолю, принимая его за Бералека.

Когда Пьер спросил его о причине посещения, он резко отвечал:

— Я желал бы добраться до аббата Монтескью.

— Но, гражданин Фуше, послушать вас, так подумаешь, что этого Монтескью и с собаками не отыскать. Отправляйтесь в Лондон. Он теперь там, и первый встречный укажет вам его квартиру.

— Аббат в Париже, я в этом уверен.

— В таком случае вы знаете больше моего. Да наконец что мне за дело до этого аббата!

Фуше пристально взглянул на молодого человека.

— Вы отказываетесь мне отвечать?

— Нисколько не отказываюсь! Но положительно не могу ничего вам сказать по той простой причине, что сам не знаю, где гражданин Монтескью.

— И вы его не встречали?

— А, ба! Вы воображаете, что у меня не может быть более приятного развлечения, чем преследовать какого-то аббата, между тем как мой милый Париж представляет мне тысячи хорошеных женщин, за которыми поволочиться куда приятнее.

Фуше понял, что молодой человек уходит от ответа.

— Я, однако, слышал, что на кавалера Баралека можно положиться, — сухо возразил он.

— Но, дражайший гражданин Фуше, вы непременно хотите видеть во мне человека делового? Взгляните на меня хорошенъко: мне двадцать восемь лет. Шесть лет я обстреливал там, на юге, войска Республики. Сознайтесь, что этот род занятий не слишком привлекателен. Наконец мир заключен, амнистия объявлена, и когда мне в кои-то веки представляется возможность насладиться в Париже всеми удовольствиями, которых я так долго был лишен, вы хотите, чтоб я маялся с нынешней политикой, теряя золотое времечко, которое, увы, может быть очень коротко. Начнись завтра война и свали меня ружейный выстрел, я, по крайней мере, не буду жалеть, что приятно воспользовался мирным временем!

Все это было сказано таким откровенным, беззаботным тоном, что Фуше, казалось, колебался. Кожоль продолжал: — Нет, поверьте! Мой жребий не интриговать. Дерусь и повинуюсь — вот моя обязанность.

Фуше встал, подошел к молодому человеку и сказал ему с ударением на каждом слове: — Послушайте меня, кавалер Бералек, и хорошенъко запомните то, что я вам скажу. Директорией уже почти решено поставить меня во главе полицейского управления: на этом посту я могу оказать услуги тем, кто будет моими друзьями. Вы меня понимаете?.. не так ли?

— Превосходно.

— Ну, так постарайтесь, чтоб и другие это поняли... гражданин Монтескью, например.

— А вы непременно желаете, чтоб я ни на шаг не отходил от этого аббата?

— Нет, но вы можете с ним повстречаться.

— Разве случайно как-нибудь.

— О, выдаются такие великие случаи! — сказал посетитель, направляясь к двери.

Кожоль хорошо понимал, что дело тут не из пустячных и требует серьезного обсуждения.

В ту минуту, когда Фуше уже протягивал руку к двери, граф вдруг крикнул с притворным смехом: — А я об этом думаю!

— О чём? — спросил уходивший, оборачиваясь.

– Если, к несчастью, этот великий случай, о котором вы говорите, не представится... и эта встреча не состоится...

– Ну так что же?

– Что тогда будет? – с беспечным видом поинтересовался Пьер.

– Но, кавалер, если мне память не изменяет, то, кажется, только что я выслушал ваше признание в склонности к любовным похождениям. И не может быть, чтобы вы не посвятили некоторого времени изучению женского сердца!

– Это правда.

– Ну-с, так видите ли, когда женщина хотела вам принадлежать, а вы отвергли ее...

– Никогда!.. – вскричал Кожоль, на этот раз с полной искренностью.

– Допустим это.

– Пусть будет так!

– Ну ладно, после вашего отказа что она делает?

– Она мстит! – ответил Пьер.

– Я этого не говорил, кавалер, – возразил Фуше, взгляд которого загорелся жестокостью. Не прибавив больше ни слова и отвесив легкий поклон, он вышел из комнаты.

Не отрывая взгляда от двери, за которой только что скрылся Фуше, граф пробормотал: – Скверная фантазия пришла мне в голову называться именем Бералека. Вчера еще я хотел отвратить от него опасность, а сегодня боюсь, что накликал ему жестокого врага.

Но неприятное впечатление быстро исчезло, и молодой человек весело вскричал: – Басти! В конце концов, этот Фуше знает меня одного и на мне одном вымстит свою злобу, если аббат откажется от его услуг.

В эту минуту послышался легкий стук.

«Не он ли это возвращается?» – подумал граф.

Дверь полуотворилась, и из-за нее выглянула угодливая физиономия Жаваля.

– Что тебе, Страус?

– Я пришел с письмом, которое пришло на ваше имя.

– Мне?

– Как же! Так по крайней мере сказал комиссир, от которого я его принял.

– Но на этой бумажке не выставлено никакого имени... ни имени, ни адреса, – сказал удивленный Пьер, осматривая со всех сторон письмо без всякой надписи.

– Комиссир сказал мне: передайте вашему постояльцу, молодому человеку, только что приехавшему из Бретани. Так как у меня, кроме вас, нет других жильцов...

– И я действительно из Бретани...

– Так оно вам, – сказал Жаваль, счастливый тем, что смог показать свою проницательность.

Кожоль сломал печать.

В письме говорилось: «Сегодня вечером, в десять часов, будьте перед Новой Калиткой Люксембурга». Подписи не было.

Пьер колебался. Станный способ найти того, кому предназначалась эта записка, привел его в недоумение.

– Ивону или мне назначается это randevu? – спрашивал он себя.

Жаваль, видя его сомнения, с дрожью объяснял себе их причину:

– Он притворяется, что не знает, кому адресовано это письмо, но я вполне уверен, что это из полиции, которая требует отчета обо мне.

Нерешительность молодого человека исчезла наконец.

– Иду! – прошептал он.

X

Ворота Люксембургского сада, носившие название «Новой Калитки» (Grille-Neuve), выходили на безлюдный пустырь. Шестнадцать лет тому назад здесь обрывалась западная часть сада – граница ее видна и теперь. Треугольник, образованный в наше время перекрестком улиц Западной и Вожирар, был огорожен, как говорилось, под устройство балаганов, кафе и общественных гуляний. Одним словом, из него хотели создать вторую знаменитую ярмарку Святого Лаврентия, находившуюся в том же квартале.

Приступили к работам, очистили место от деревьев, но на том и остановились. Дорога, проложенная позже и получившая название улицы Богоматери, не слишком-то возбуждала охоту здесь строиться. Для приманки покупателя обещано было, что все дома, которые будут окаймлять сад, смогут иметь свой собственный выход в Люксембург с правом бывать там даже тогда, когда для остальной публики сад закрыт. Но подрядчики мало заботились об улице Богоматери, и в 1798 году здесь стояли только два угловых дома со стороны Вожирар.

Кругом расстипалось пустое поле, сплошь покрытое ямами от выкопанных деревьев – никто не позабочился его сровнять. Понятно, как рискованно было идти сюда ночью, когда мошенники наводняли город и смеялись над тщетными усилиями полиции, неискусной и беззаботной, если дело не касалось политики.

Однако во мраке, не рассеянном светом ни единого фонаря, кто-то проскользнул.

– Черт побери! Здесь темнее, чем в печи! Ай да местечко! Честное слово, тут вволю можно душить людей, – бормотал человек, подвигаясь вперед.

От подобной мысли Кожоль – а это был он – вдруг остановился.

– Ба, в самом деле, – прибавил он, – меня заманили в этот позабытый уголок Парижа, может быть, для того чтобы без шума отправить на тот свет. Любая из этих восхитительных ямочек, зияющих повсюду, готова принять меня в свои объятия – только выбирай.

Он тихо усмехнулся и продолжал свой путь.

– Но я не сойду один в эту ямочку, никаких сомнений. Сначала еще распорю живот тем, кто вздумает шататься вокруг меня на расстоянии вытянутой руки.

Говоря это, граф ощупывал широкий тесак, засунутый в левый рукав.

– С этим орудием можно держаться дольше, нежели с пистолетами, как дорогой Бералек, который, пустив пули в двух сварливых собак, был искусан остальной сворой.

Привыкнув в Вандее к ночных переходам через кустарники, болота и овраги, Кожоль без особого труда продвигался вперед по изрытой почве.

Он остановился еще раз.

– Что меня ожидает на этом свидании? Опасность или радость? И кому оно назначается? Мне или Ивону? Эта записочка без адреса очень замысловата.

В этот момент, среди тишины ночи, вдали раздался удар часов. Пробило три четверти десятого.

– Ба! К чему тревожиться? Чрез несколько минут я узнаю обо всем, что ждет меня.

Кожоль сделал уже пару решительных шагов вперед, как вдруг замер.

– Что это такое? – пробормотал он про себя.

В ночной темноте он заметил какую-то черную приближающуюся массу, немного похожую на толпу людей.

Искушенный во всех хитростях партизанской войны, смелый шуан недолго раздумывал. В один миг он припал к земле и осторожно соскользнул в ближайшую яму от вырванного с корнем большого дерева. Только одна голова поднималась над поверхностью земли.

Это, несомненно, была толпа людей, она подходила к убежищу графа. Шествие двигалось молча, тихими шагами.

«По-видимому, они несут какую-то тяжесть», – сказал молодой человек про себя.

Кожоль не ошибался. Людей было шестеро. Двое впереди поддерживали какую-то ношу продолговатой формы, напоминавшую набитый мешок. Четверо других шли следом и, по-видимому, готовы были сменить их.

Лишь только они приблизились к воронке, где, пригнувшись, сидел Пьер, из мешка послышались придушенные крики.

Толпа тотчас остановилась.

– Нужно, конечно, вынуть кляп, но как приблизимся к жилым домам – опять заткнуть ему рот, а то эти мяуканья всех перебудят, – произнес один из толпы голосом, едва слышным, однако же так, что слова долетели до ушей графа.

Двое носильщиков положили куль на землю и принялись распутывать веревки, которыми он был обвязан. Четверо других подготовились тотчас схватить жертву, вздумай она сопротивляться.

Предосторожность не помешала: как только жертва почувствовала, что ее голову обдало свежим воздухом, она издала протяжный крик о помощи. Но тут сильная рука сдавила ей горло.

– Ну, Жак! Ты не удави совсем, – ведь жизнь его стоит денег! – повелительно произнес говоривший прежде голос.

– Будь покоен! Я ведь только немножко сжал его флейточку – но это ничего!.. – произнес тот, которого называли Жаком.

– Надо опять вставить ему кляп, – произнес третий голос.

– Ну, вот! Дайте же ему перевести дух, а то еще померет.

Кожоль слышал из своего убежища хриплые свистящие звуки, выходившие из груди жертвы. С минуту он думал было выскочить из засады, чтобы броситься на этих людей и освободить пленника, но благородное его удержало.

«У меня и так уже довольно дел, кроме освобождения этого удавленника, – подумал он. – Если бы в эту минуту происходила битва и если бы до места моего свидания было два шага, то, без сомнения, я помог бы бегству этого несчастного или несчастной...»

И молодой человек решил держаться тихо.

Мало-помалу дыхание пленника стало ровным. Но грубость разбойников, чуть не задувших его за попытку освободиться, отбила у него охоту продолжать борьбу, и он спросил умоляющим голосом:

– Ради бога!.. Куда вы несете меня?

– Скоро сам узнаешь.

– Вы затолкали меня в этот мешок, чтобы бросить в Сену?..

– Нет! Этого тебе нечего бояться.

– Ну, так что же вы хотите сделать со мной?

– Мы переменим твоё убежище. Вот и все.

– И я уже никогда не выйду на свободу?

– Завтра, если хочешь, тебя отпустят.

– Что же мне делать? Скажите, скажите!.. Я сделаю.

– Да ведь тебе уж сколько раз повторяли, что нужно признаться Точильщику в том, что он требует.

В пленнике на минуту вспыхнула энергия.

– Никогда! – воскликнул он.

– Это твоё последнее слово?

– Никогда! – повторил пленник.

– Ну, так всуньте же ему снова в рот затычку! – распорядился один из толпы, по-видимому, начальник.

Жертва еще попыталась умилостивить извергов:

– Выслушайте хоть слово, умоляю вас.

– Ну, говори!

– Отпустите меня! Я озолочу вас всех... всех шестерых. Я дам вам сто тысяч экю! – несчастный назвал баснословную цифру с мучительным усилием.

Толпа молча остановилась.

Пленник снова начал хриплым голосом:

– Даю вам двести тысяч экю, только освободите меня.

– Так сознайся же Точильщику и, повторяю, – завтра будешь свободен.

– Нет, нет, никогда! – повторил несчастный с выражением мрачного раздумья.

– Ну, кляп, живо! – приказал начальник.

Жертва попыталась было сопротивляться, тряся головой и сцепив зубы, но и минуты не понадобилось, чтобы опять заткнуть бедняге рот и завязать в мешок. Два носильщика тотчас подняли его с земли.

– В дорогу! – сказал начальник.

Толпа бесшумно тронулась и тотчас исчезла во мраке.

– Счастливого пути! – произнес Кожоль, решивший благоразумно выждать несколько минут, прежде чем оставить свое убежище.

По дороге к месту своего randevu молодой человек размышлял о сцене, безучастным свидетелем которой ему довелось стать.

– Это странно! – сказал он сам себе. – Я никогда не оставался бесчувственным, слыша крик о помощи, а между тем теперь не испытываю угрызений совести за то, что не помог человеку, предлагавшему так легко такую милую суммочку – двести тысяч экю!..

И Кожоль улыбнулся, прибавив:

– Черт побери! Этот парень, которого зовут Точильщиком, имеет полное право гордиться, что ему повинуются беспрекословно. Иметь подчиненных, отказывающихся от неожиданной добычи в двести тысяч экю, – да это редкость, честное слово!

Граф шел к Новой Калитке, когда в у него родилось неожиданное желание:

– Черт возьми! Хотел бы я познакомиться с этим Точильщиком, который бросает людей в мешок, как будто какой-нибудь картофель.

На описание сцены, при которой присутствовал Пьер, мы потратили, может быть, вдвое больше времени, чем продолжалась сама сцена. Когда граф подошел к воротам в сад, на башне пробило десять часов.

«Ну, я пришел как раз впору! – подумал Кожоль. – Будет ли так же аккуратен тот или та, кто меня сюда звал?»

Он еще не закончил мысль, как в саду послышался хруст песка под легкой ступнею и тотчас же с другой стороны решетчатой калитки появилась тень.

– А! Это женщина! – прошептал Пьер. – Признак хороший. Конечно, это какая-нибудь служанка, которая ищет меня, чтобы провести к своей госпоже. Ну, мое положение, кажется, немногим лучше, чем положение того гражданина, которого упредали в мешок.

Приблизившись к калитке, женщина легонько откашлялась.

«А-а!.. Ну, значит, меня приглашают познакомиться», – подумал молодой человек, подходя ближе.

У самой калитки нежный голос спросил его:

– Вы из Бretани?

– Я приехал вчера утром.

– А где остановились?

– В гостинице «Страус».

– Хорошо. Подождите.

Ключ взвизгнул в замочной скважине. И пока отпирали, граф думал про себя: «Из этого короткого допроса нельзя понять, назначено свидание мне или Ивону...»

И он проскользнул в полуотворенную калитку. Женщина тотчас же заперла ее.

– Дайте мне руку, – сказала она.

Пьер повиновался и доверился своей проводнице. Под густыми деревьями сада царил непроницаемый мрак, в котором граф не смог бы сделать и шага без ее помощи.

– А-а! – прошептал он. – Ручка нежная и тонкая! Служанка из хорошего дома!

Минуты две шли они под тенью деревьев и наконец достигли цветника, раскинувшегося под открытым небом.

Задняя сторона Малого дворца Люксембурга предстала перед глазами молодого человека.

Его проводница направилась к двери, к которой вела маленькая лесенка.

«Ага! Потайная лестница!.. – подумал Кожоль. – Без сомнения, я вышел в добрый час. Да... но, однако ж, кого ожидают – меня или Ивона?..»

Сделав шагов двадцать, женщина повернула вправо и прошла еще немного, ведя за руку графа.

– Ну, вот здесь, – произнесла она остановившись. – Близ вас должна быть софа.

– Да, правда, – ответил Кожоль, ощупью нашедший в темноте софу.

– Ну, так садитесь же и ждите.

Граф продолжал держать свою провожатую за руку, не давая уйти.

– Как же, прелестница? Неужели ты хочешь оставить меня одного впопыхах?

– Свет возбудил бы подозрение того, кто живет напротив.

«„Того“! Это, конечно, значит – мужа. По-видимому, дама замужем», – подумал Пьер.

Служанка старалась вырвать руку, но граф все еще крепко сжимал ее.

– Ну-с, милое дитя, так я могу видеть лицо твоей госпожи?

– Да, если вам нужно знать, как она прекрасна!

Обрадовавшись этому известию, Кожоль выпустил руку девушки. Вскоре по шуршанию платья можно было заключить, что она удалилась.

Пьер остался один.

«Ах! Она прекрасна! – думал он, сияя от радости. – Я наслаждаюсь счастьем... да, но...»

К нему возвратилось подозрение, что, может быть, это счастье приготовлено для Ивона.

«Ну да с первых слов я уж достаточно узнаю, в чем дело», – подумал он.

В это время раздался легкий шорох.

– Это она! – бормотал молодой человек.

Но прежде чем он произнес хоть слово, он почувствовал, что его шею обвивают две голые прелестные ручки и маленький ротик, с жаром целуя его, тихо произнес:

– Я люблю тебя!

От этих слов кровь вспыхнула и бросилась в голову Кожолю с такой быстротой и силой, что он вмиг забыл своего милого друга Бералека. Но надо помнить, что ведь ему было только двадцать восемь лет! Не вдаваясь в размышления, он последовал правилу мудреца: «Не поддавайся сомнению!»

Было уж немножко поздно, когда в его душе проснулось воспоминание об Ивоне.

Кожоль одержал один из тех гнусных триумфов, которые заставляют победителя краснеть.

Этот бред чувства, внезапно рожденный в молодом человеке поцелуем и всего одним, но невыразимо сладостным словом «люблю», не был легкой победой. Если нападение отличалось бешеной, зверской необузданностью безумных желаний, то защита была отчаянной. Эта борьба в темноте оказалась недолгой, но дикой и абсолютно безмолвной – может быть, потому, что неожиданность сковала голос этой женщины, или потому, что она боялась, что крик разоб-

лачит ее, коварно выдаст ее секрет и опозорит. И пускай незнакомка сама призналась в любви, сопротивляясь она перестала, только истощив все свои силы.

Лишь когда жгучая слеза упала Кожолю на руку и он услышал глухое и мучительное рыдание своей жертвы, он очнулся и понял гнусность своего поступка.

Он склонился над женщиной, полный стыда и искреннего отчаяния, как вдруг она вскочила и отбежала от софы: она увидела, что приближается опасность, страшная для того, кто подверг ее такому унижению.

Но в эту минуту любовь ее поборола отчаяние и презрение к своему палачу, и незнакомка, трепеща, пролепетала:

– Беги!.. Или ты погиб!

Сквозь щель под дверью этой темной комнаты блеснул огонек свечи, который, приближаясь, становился все ярче.

Прежде чем Кожоль попытался что-то сказать, женщина подбежала к двери, отворила ее и бросилась навстречу внезапному посетителю.

Кожоль снова остался один вптымах. Но вместо того, чтобы бежать, он, как прикованный, сидел на своем месте. Его захватило непреодолимое желание узнать ту, которой он овладел, не видя ее лица.

Слабый луч света, проникавший в замочную скважину, подсказал графу, как удовлетворить свое любопытство! На цыпочках он приблизился к двери и заглянул в замочную скважину.

Он ахнул от изумления.

«Как она прекрасна!» – подумал он.

Женщина сидела у камина, повернувшись так, что Кожолю удобно было рассмотреть ее. Высокая, смуглая, с матовой кожей, с изящными розовыми губками, эта женщина обладала красотой ослепительной; красота эта с первого взгляда привлекала и поражала созерцающего ее. Ее большие глаза, черные и глубокие, выражали страсть и энергию. И как поразительно эти глаза должны были оживляться в минуты ненависти и гнева этой женщины! В этом величаво-прекрасном создании – встреченном благодаря поразительной случайности – Кожоль угадал нрав неукротимой тигрицы, которая сумеет отомстить за себя.

Выражение лица этой женщины сейчас было страшным, и с таким выражением она смотрела на человека, чей приход спешила предупредить. И нежданный посетитель, конечно, содрогнулся бы, если бы заметил этот гневный взгляд. Но он не видел его, в это время он зажигал подсвечники на камине.

Покончив с этим, он обернулся, и Кожоль сразу узнал его. «Это Баррас!» – воскликнул он про себя.

Волокита-директор сел рядом с женщиной и взял ее за руку.

– О! Жестокая! – произнес он, целуя кончики ее пальцев.

Она не пыталась отнять руку.

– Жестокая? Милый директор... Почему же я жестокая?.. – произнесла она мелодичным голосом, одарив Барраса чарующей улыбкой.

«Ах! Ах!.. – подумал Пьер, продолжая внимательно смотреть в замочную скважину. – Что за быстрая перемена в ее лице! Еще минуту назад, наблюдая за ней, я готов был побояться, что она презирает гражданина Барраса, а теперь – ее голос так сладок и улыбка так...»

Упреки совести потрясли его до глубины души.

«Да, теперь я понимаю, что это грозное выражение прекрасного лица относилось к хвастунишке-Кожолю... Он стоит проклятия за свое милое поведение...»

И он прибавил с глубоким вздохом:

– В конце концов я получил то, что заслуживаю.

Между тем разговор за дверью продолжался:

— Да, жестокая!.. — повторил Баррас. — Жестокая! Потому что несколько минут заставила меня беспокоиться... пока я вас искал. Ну, где же вы тогда спрятались, Елена?

— Елена!.. Прекрасное имя, — пробормотал Пьер.

— Я же вам повторяю, виконт Баррас, что с наступлением ночи я хотела немножко освежиться в комнатах, выходящих в сад. Скучное ожидание слишком тяготило меня. В соседней комнате я невольно задремала. Когда я вас встретила, мне и в голову не пришло, что я так долго спала.

— И вы шли встречать меня, Елена? — спросил Баррас взволнованным голосом.

— Куда же я могла идти в этом дворце, где я, кроме вас, никого не знаю, где никто не интересуется мной, кроме вас?

— Ну, вы сами же сознаетесь, что вами интересуется только один — и эта правда не может вдохнуть в вас никакой признательности! Когда ж, Елена, вы полюбите меня?

— Да неужели вы не уверены в моей дружбе?

— Ах! Что мне из этой дружбы, которую... вы всегда выставляете напоказ, когда вздумаете притвориться, что не понимаете меня. Не дружбы я хочу, а вашей любви... вот...

И Баррас упал к ногам Елены, закончив свою речь страстной мольбой:

— Елена! Я желаю владеть тобой!.. Бесценная, обожаемая Елена!

В эту секунду Кожоль быстро отвернулся от замочной скважины.

«Да! — подумал он, — я разыгрываю дурака, выслушивая это объяснение. Мне нет здесь места, черт побери! Нужно скорее бежать!»

И молодой человек сделал уже шаг прочь от двери, но он рассчитывал... Им овладела непреодолимая зависть. Уже забыв о неловкости и чувстве вины, которое щемило его сердце, он хотел снова побыть с глазу на глаз с Еленой, хотел получить прощение за свою ошибку от той, которую он находил столь прекрасной.

Кожоль еще не верил, что влюбился, но, однако ж, в голосе его уже звучала ревность, когда он пробормотал:

— И она позволяет... снисходит до этого проклятого Барраса?..

И, против собственной воли, граф снова занял пост наблюдателя у замочной скважины.

Директор, сложа руки, все еще стоял на коленях и не переставал умолять Елену.

— А! Хорошо!.. Дела директора идут не лучше прежнего, — тихо произнес Пьер с невольной радостью.

Елена смотрела на Барраса большими черными спокойными глазами — а он трепещущим от глубокой страсти голосом продолжал говорить ей о своей любви.

— Елена! — повторял Баррас. — Сжался надо мной!

На мольбы о жалости Елена залилась громким смехом и поднялась с места, оставив коленопреклоненного директора вздыхать в одиночестве.

— Ну, довольно! Идемте, гражданин директор! Вы забываете условия, — сказала она ему сухо.

Баррас медленно выпрямился.

Развратник-директор был укрощен этим истинным чувством, так забавлявшим тех, кто знал легкость его прежних любовных побед. Равнодушие Елены, с которым он должен был считаться, вместо того чтобы раздражать, делало его слабым и покорным.

— Зачем вы так безжалостно отказываете мне? — спрашивал он, едва сдерживая слезы.

— Да я не отказываюсь любить вас... обожать вас или даже потерять голову от любви к вам... — поспешило возразила молодая женщина насмешливо-веселым тоном.

— Елена! Ради всего святого! Оставьте этот тон! Он заставляет меня ужасно страдать. Всякий раз, когда я говорю с вами о роковой страсти, которую вы вдохнули в меня, — вы отвечаете мне смехом или колкостью!

— Что же мне, плакать, чтоб вам угодно было полюбить меня? — произнесла она с беззаботным смехом.

Баррас был болезненно потрясен ироничным и невозмутимым тоном Елены; ее манера доказала влюбленному, что он не возбуждает в прелестнице даже сожаления.

— Значит, вы ненавидите меня! — вскричал он.

— О! Гражданин директор! Вы переходите от одной крайности к другой. Из того, что я не люблю вас, вы заключаете, что я должна вас ненавидеть. Нет, я вас ненавижу точно так же, как и не люблю. Разве напоминать вам о нашем уговоре — значит ненавидеть вас? Однажды вам угодно было развлечь меня патриотическим праздником... я не помню, каким. Вы, избалованный счастьем и удачей, вздумали преследовать меня и действовали тем настойчивее, чем холоднее была я. Вы сказали мне: «Позвольте мне любить вас, может быть, настанет время, когда и вы меня полюбите, я терпеливо буду ждать этого мгновения». Вот что вы сказали мне тогда, мой милый. Ну, и мне стало любопытно узнать, действительно ли способен сластолюбивый Баррас полюбить искренно...

— Теперь вы должны это знать! — произнес со вздохом Баррас.

— Да, вот страсть искренняя — я это признаю.

— Так почему же отталкивает меня?! — невнятно пробормотал бедный влюбленный.

Елена засмеялась.

— Ах! Это потому, что не пришел еще день, тот знаменательный день, в который, как вы предсказали, я полюблю вас. Да этот день и не придет скоро, если вместо обещанного вами терпеливого ожидания вы будете устраивать мне глупые страстные сцены.

Это было сказано таким безжалостным, неумолимо холодным тоном, что Баррас невольно очнулся от своего страстного опьянения.

Молния гнева сверкнула в его глазах. Он схватил Елену за руку.

— Да кто же вы, наконец, — вы, которую какая-то, должно быть, мистическая сила поставила на моем пути... вы, которая, по-видимому, повинуетесь чьим-то приказаниям мучить меня? Вы пришли сюда исполнить какую-то миссию.

— Хотите вы, чтобы я навсегда оставила дворец? — холодно спросила Елена, освобождая свою руку.

— Да, проклятая! Беги! Потому что я более не отвечаю за себя.

Она медленно направилась в двери, напротив той, за которой стоял Кожоль, отворила ее и произнесла, обернувшись:

— Прощайте, Баррас!

Но страсть снова взяла верх над разумом. Мужество покинуло развратного директора при мысли, что он теряет эту женщину. Он стремительно бросился к ней, упал к ее ногам, судорожно обнял ее стан трепещущими руками и проговорил, задыхаясь от рыданий, полным страшной муки голосом:

— Останьтесь, Елена, останьтесь!.. Умоляю вас. По крайней мере я буду наслаждаться счастьем видеть вас... если вы не можете отвечать мне любовью.

— Конечно, когда-нибудь придет время, — сказала Елена, немного смягченная этим неподдельным страданием.

— Нет, Елена, это время не придет... не придет. Я теперь это понимаю. Если вы мне отказываете в своей любви, так это потому, что любите другого.

Елена вздрогнула.

— Я люблю? Кого же? — произнесла она.

— Откуда мне знать! Может быть, того молодого человека, один вид которого заставил вас упасть в обморок на прошлом балу... когда он передавал вам ту игрушку... вы тогда даже не успели взять эту безделушку в руки.

— Мой обморок произошел от нервного возбуждения, а нервное возбуждение произошло от излишнего любопытства ваших гостей. Что касается молодого человека, то я никогда не видала его прежде.

Елена произнесла эти слова до того непринужденно и естественно, что Баррас с наивностью воскликнул:

— Тем лучше, если вы не любите этого несчастного щеголя!

— Почему же «несчастного»? — произнесла Елена с трепетом в голосе, которого, однако же, Баррас не заметил.

— Потому что я узнал из полицейских известий, что он был убит вскоре как покинул бал.

Женщина, кажется, преодолела жестокое волнение, когда почти равнодушно спросила Барраса:

— А есть ли доказательства, что этот убитый — именно он?

— Моя печать от часов, которую я вручил ему. Ее нашли на месте убийства.

Елена, услышав эти слова, судорожно поднялась. Сдавленный крик вылетел из ее волнившейся груди. Минуту женщина оставалась неподвижной, потом обратила свой взгляд к двери, ведущей в маленький зал; ее лицо исказилось и смертельно побледнело. Она как будто хотела прочитать на этой двери ответ на тяготивший ее вопрос. И вопрос этот был: «Кто же несколько минут тому назад держал меня в своих объятиях?»

Баррас даже не успел узнать, отчего его возлюбленная так взволнована. Она схватила зажженный канделябр, стоявший на камине, и бросилась в маленький зал.

Зал был пуст.

Глаза Елены быстро окинули всю комнату, осмотрели внимательно все углы.

Но странного посетителя, которого она приняла за Ивона Бералека, здесь уже не было.

В глубине сердца она, может быть, простила бы другу юности грубый порыв любви, которую она уже отчаялась вернуть; но... она вдруг должна была узнать, что стала добычей жалкого нахала, который мимоходом насладился ее объятиями.

У нее вырвался дикий глухой крик бешенства при мысли, что она не знает этого человека... что этот человек теперь владеет тайной ее позора, что он теперь самодовольно улыбается, восхищенный своим мошенническим триумфом.

При мысли, что этот негодяй навсегда останется ей неизвестен, безумный гнев овладел Еленой, жажда мести наполнила все ее существо. Это чувство заглушило все другие. Она обратилась к Баррасу, который шел за ней, ровно ничего не понимая.

Бешеный гнев придал лицу женщины выражение трагическое, и директор, пораженный величием и ослепительной красотой этого лица, воскликнул с изумлением:

— Елена! Как вы прекрасны!..

— Послушайте, Баррас! — ненависть металлом звенела в голосе Елены. — Только что вы валялись у моих ног, вы просили у меня, как милостыни, немного любви...

— Ну, и что же? — спросил Баррас, сердце которого затрепетало надеждой.

— Ну, и вот что: красота, душа, тело — все ваше, если вы сможете это заслужить!

Баррас почувствовал, что страсть потрясла его со всей силой. Эта жертва со стороны Елены была для него совершенно неожиданной после иронического отказа.

— Чего хотите вы? — вскричал он, пожираемый нетерпением.

Побледнев в лице и судорожно выпрямившись, она ответила ему:

— Здесь сейчас был человек, который нас подслушивал... Он не мог уйти далеко... Приведите мне его, Баррас, немедленно!.. Чтобы он стоял перед моими глазами... Чтобы я могла видеть его лицо и потом...

Невозможно описать, как ненависть исказила черты Елены в ту минуту, когда она представляла себе этого незнакомца в своих руках.

— Ну, что же потом? — спросил с беспокойством Баррас.

— И потом, — закончила Елена, — если вы это сделаете... я буду ваша.
Баррас бросился из комнаты с криками радости.

Минуту спустя все слуги во дворце бросились на поиски. Посты гвардии, охранявшей безопасность членов Директории, выслали патруль во все концы сада. За оградой его обходили дозорные, чтобы схватить беглеца, коль скоро он попытался бы перелезть через стену, окружавшую сад. Во мраке ночи засияли факелы.

В один миг весь дворец был на ногах. Всех взволновало известие о каком-то негодяе, прокравшемся в Люксембург, чтобы совершить покушение на Барраса. Говорили, что директор боролся с этим мерзавцем, и что преступник, видя свою неудачу, решился бежать через сад.

Не произнося ни слова, с мрачным лицом Елена смотрела в окно залы на суетливые поиски.

Но что же стало с Кожолем, которого оцепили, словно вора?

Граф слышал до конца разговор между Еленой и Баррасом. Когда прозвучали слова о смерти бежавшего с бала молодого человека, волнение Елены убедило Пьера в истине, в которой он желал бы ошибаться, — он занял место Ивона.

— Ну, что же я сделал, что я сделал? — спрашивал он себя с горечью.

Он еще продолжал смотреть в замочную скважину, видел, как лицо молодой женщины судорожно менялось при мысли, что кто-нибудь другой, а не Бералек был виновником сцены в будуаре.

«Ах! — подумал Кожоль. — Кажется, мне нельзя оставаться здесь дольше».

В ту минуту, когда Елена вошла в комнату, граф Кожоль уже скрылся.

Но Пьер, в ком любопытство не уступало смелости, был неспособен к быстрому трусивому бегству. Ступив уже на маленькую лестницу в сад, он снова остановился, чтобы подслушать окончание разговора между кипящей ненавистью женщиной и директором, — разговор, происходивший уже совершенно в другом тоне.

«Тьфу, дьявольщина! Восхитительная Елена пытает бешеным желанием видеть меня воочию. Она готова купить это дорогой ценой!» — думал Кожоль. Он слышал, как Елена обещала Баррасу любовь, если он доставит ей беглеца.

Когда директор бросился из будуара, граф понял, что медлить теперь опасно.

Он осторожно спустился с лестницы, по которой обыкновенно ходила прислуга, и очутился перед цветником.

«Ну, — подумал он, — надо быть благоразумным. Если держаться открытых мест, меня тотчас же заметят из окна, и сэр Баррас меня неминуемо поймает». Если бы удалось добраться до густых садовых аллей, Кожоль смог бы скрыться под их непроницаемой тенью и спастись.

План созрел быстро.

— У меня не остается другого средства, как следовать под стенами дворцовых построек до самой ограды, — решил он. — Достигнув ее, я скроюсь в тени каменного вала, затем легко дойду до решетчатой калитки. На ее засовы можно будет опереться, чтобы перелезть на другую сторону. Итак, в путь! Правда, это путь длинный, но зато безопасный.

Продумав детали плана, молодой человек пустился в путь, держась в тени стен дворца.

По дороге он думал: «Ну, хотел бы я знать, какие уловки выдумает Баррас, чтобы остановить меня».

В тот момент, когда он достиг ограды, внезапно мелькнувший вблизи свет заставил его обернуться.

Это была дворцовая прислуга, которая с зажженными факелами в руках ходила по саду.

«Ага! — мелькнуло в голове Кожоля. — Волокита-директор устроил своей возлюбленной эффектную охоту с факелами... Я — олень, на которого устроена эта облава!..»

И он смерил взглядом расстояние, отделявшее его от прислуки, занятой поисками.

— Ну, я, однако ж, доберусь до калитки прежде этих тугодумов! — решил он.

Под тенью деревьев Пьер быстрым шагом направился по аллее, идущей справа от решетки, держась вдоль стены сада. Однако через несколько метров принужден был вдруг остановиться.

Он услыхал по другую сторону стены голос, очевидно, доносившийся с улицы:

– Когда этот разбойник взберется на стену, не стреляйте по нему. Нужно схватить его живым.

– Ага! – пробормотал Кожоль. – По улице ходит дозор. Я попал в настоящий капкан.

И, поразмыслив немного, он решил:

– На самом деле я бы выкрутился, даже если б украл серебряные ложки Директории... Но мое дело, кажется, не достойно сурового наказания... Если меня схватят, я должен буду сказать всю правду... что я пришел на свидание как влюбленный.

Но граф тотчас покачал головой.

– Нет, нет, – продолжал он, – ты не можешь говорить этого, мой любезный Пьер. Это старое французское волокитство – ты должен выкинуть из головы всякую мысль о нем. Ведь совершенно бесполезно компрометировать даму, которая...

Легкая улыбка пробежала по его губам в эту минуту, и он окончил свою фразу с некоторым тщеславием.

– Бесполезно, – продолжал он говорить сам с собой, – компрометировать даму, которую, в конце концов, ты, Кожоль, жестоко компрометировал. Она питает к тебе сильную ненависть, мой бедняжка Кожоль, и я тебя уверяю, что она не слишком заблуждается!

Упрекая сам себя, молодой человек, однако, держал ухо востро.

По ту сторону стены голоса отдавали команды.

– Не стрелять! Нужно схватить его живым, если хотите получить обещанную награду в двадцать луидоров – награду за поимку гнусного злодея, покусившегося на жизнь директора Барраса!..

При этих словах Кожоль вздрогнул.

– Черт побери! Я не знаю, постоянно ли лжет Баррас, но он далеко пойдет, если будет так лгать, как сейчас. Ах! Я не хочу компрометировать Елену. Но как же мне отделаться из такого обвинения? Убийца!.. Положение мое скверное... Баррасу поверят!!.. Поверят тем более, что господа республиканцы не возмущаются, когда видят, что какого-нибудь шуана выдают за чудовище!..

Пьер снова обернулся, ища глазами факелы слуг, бродивших по саду.

Преследователи мало-помалу приближались. Если Кожоль продолжит стоять на одном месте, его совсем скоро окружат. Понимая, что ему нужно во что бы то ни стало выскользнуть из Люксембургского сада, он снова пустился в путь, взяв вправо от ворот, выходивших на улицу Богоматери, там, где к ней примыкала улица Ада. Он рассчитывал, что сад не был со всех сторон окружен дозором и что с этой стороны удастся незаметно перелезть через стену.

Он быстро скользил в глубокой тени деревьев, обходя стороной растянувшуюся по саду цепочку ищек.

Но опасность, с которой он справился у цветника, вновь открылась перед ним в конце аллеи: он очутился у большой светлой лужайки, отделявшей один густой ряд деревьев от другого.

Эта лужайка, шагов в двести, просматривалась отовсюду прекрасно – нельзя было и думать пройти ее незамеченным.

Пьер стремительно бросился вперед.

Но его тотчас увидели. Послышался сигнал.

Мгновенно вся цепь сбылась в кучу и поспешила наперерез беглецу, словно толпа охотников, заметивших добычу.

Кожоль сохранил веселое расположение духа, даже несмотря на угрожавшую ему опасность.

— А ведь я, должно быть, забавно выгляжу в роли оленя. Счастье, что на ноги я не жалуюсь. Я достигну выхода на улицу Ада гораздо раньше, чем эта неповоротливая сволочь, которая пытается меня преследовать.

Пьер подбежал к воротам, но решетчатые створки оказались заперты. Издалека он различил, что по ту сторону их сверкают ружейные стволы. Это были ружья дозорных. Заслышив шум в саду, патрули окружили выходы.

— Ну, так поищем другой путь к спасению, — сказал Кожоль, повернувшись лицом к приближающейся толпе.

Заметив, что беглец стоит неподвижно, преследователи переменили тактику. Скутившаяся ватага разделилась, с двух сторон заходя за спину Кожолю.

— Ну, вот живая изгородь, которую можно прорвать! Тем хуже для того, кто будет препрятствовать мне путь! — пробормотал граф, хватаясь за один из пистолетов, закрепленных за поясом.

Но он тотчас отказался от идеи с оружием.

— Нет! Зачем же убивать какого-нибудь беднягу, который с таким рвением повинуется приказанию, поверив, будто я душегуб?

Кожоль стоял в центре уже сомкнувшегося круга. Секунду раздумав, он сделал скачок вперед и с быстротой молнии всей грудью бросился на препрятствия, которое ему путь человека. Он наградил беднягу такими ужасными оплеухами, какие может дать только бретонец. Несчастный откатился шагов на десять. И Кожоль прорвался сквозь пробитую им в живой цепи брешь.

Преследование возобновилось, хотя на этот раз не так решительно: охотники очутились в тени деревьев, которую мерцание факелов едва могло рассеять, и скоро потеряли из виду свою жертву.

В это время Пьер уже почти достиг стены, как вдруг очутился в том углу сада, где еще и теперь стоит фонтан Медичи.

— Тыфу, дьявольщина! — проворчал Кожоль. — Теперь я попал в глухой тупик. Здесь они могут схватить меня.

Толпа приближалась. Похоже, к ней присоединились и замешкавшиеся во дворце слуги. Теперь добыча уже не могла ускользнуть. Толпа бросилась в угол между фонтаном и большой стеной соседнего частного дома.

И вдруг крик удивления и разочарования вылетел из груди ловцов.

Беглец внезапно исчез, как будто его вмиг поглотила земля!

До самого рассвета продолжались поиски в саду, а уличные дозорные стояли у ограды на страже. Все было бесполезно.

Наконец розыск решили прекратить.

Когда Баррас узнал о неудачном исходе дела, он в отчаянии возвратился в комнаты той, обладатель которой надеялся всего несколько часов назад.

Несмотря на раннее утро Елена была на ногах.

— Наши усилия оказались тщетными, — сказал ей Баррас.

Женщина посмотрела на него с изумлением.

— Какие усилия? — спросила она.

— Но ведь нужно было найти того человека, которого вы так желали видеть вчера вечером... — пробормотал Баррас, изумленный вопросом Елены.

Она рассмеялась коротко и воскликнула уже веселее:

— Ax! А я ведь совершенно забыла о нем, милый директор, уверяю вас!..

XI

На другой день после этой ночи, когда Кожоль так неожиданно спасся от преследования, господин Жаваль, достойный собственник гостиницы «Страус», растянувшись на скамье в передней, всхрапывал, как самый счастливый из смертных.

Наш трус спал среди белого дня – было два часа пополудни – потому что, проведя в ожидании своего единственного жильца всю прошлую ночь напролет, Жаваль наконец был побежден дремотой и прикорнул с крепко сжатыми кулаками.

У хозяина гостиницы был характер кролика, но сон его, напротив, не был беспокоен и чуток; этого простак свалился на скамье без задних ног и открыл глаза только тогда, когда его сильно потрясли за плечо.

Едва Жаваль пробудился, к нему вернулась его обычная трусость. Он уже открыл было рот, чтобы прокричать:

– Да здравствует Дирек…

Но вовремя смолк, потому что не увидел ни одной живой души, перед кем мог бы выслушаться подобным образом.

Перед ним стояла женщина, закутанная в большой платок, она подала ему какой-то кошелек, прибавив отрывисто:

– Возьми это и дай ответ.

– Я не согласился бы принять этот подарок, если бы дела мои не были в таком плохом положении, – сказал Жаваль с глубоким вздохом, но все-таки спрятал кошелек в карман с видимым удовольствием.

И он принял перед Еленой – потому что читатель, без сомнения, догадался, что это была она – почтительную позу и подготовился отвечать.

Отменив свой план мести и оставив безутешного Барраса, она пришла сюда, преследуя того, кто так жестоко ее оскорбил.

– Сюда, – сказала она, – вчера, почти в это время, должно было прийти письмо для одного из твоих жильцов.

– Да, письмо – без всякой надписи.

– Но с достаточными пояснениями, которые помогут найти получателя письма.

– Это правда – с именем молодого человека, которое мне передал принесший письмо.

Он сказал, что получатель недавно прибыл из Бретани… Письмо это вручили мне.

– И что ж вы сделали с ним?

– Ах, гражданка! Я отдал его тому лицу, на которое мне было указано. Я не мог ошибиться, ведь это мой единственный жилец.

– Как его имя?

– Кавалер Бералек.

Елена вздрогнула от неожиданности этого открытия.

– Так он не умер! – вскричала она.

– Умер? Он!.. Ах! Клянусь вам, мадам, он жив, даже слишком жив, потому что он подал мне самую полновесную уверенность в этом, – вздохнул Жаваль, которому тупая боль в известном месте напоминала о мощном пинке Бералека.

– Он не ранен… только слаб?

– Слаб? О, нет! Он в полной силе… А что он, может быть, говорит… так это он обманывает, поверьте мне.

– А ты наверняка знаешь, что это кавалер Бералек? – спросила Елена, у которой ненависть уступила в душе место искренней радости: она узнала, что еще жив тот, кому она простила бы любую вину.

– Да, Бералек – так он сказал свое имя, когда приехал сюда.

– А когда он приехал?

– Три дня тому назад.

– Ты это точно знаешь?

– Точно. Это был тот самый день, когда Директория давала бал, чтобы отпраздновать взятие Мальты.

«Конечно, это Ивон! – подумала Елена. – Но в таком случае зачем же Баррас обманул меня, уверяя, что Бералек убит после бала?»

Сомнение мучило сердце Елены, и она продолжала расспрашивать Жаваля. Тот, рассмотрев ее внимательно, решил про себя: «Она тоже, должно быть, полицейская шпионка из той же шайки, которая выслеживала меня».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.